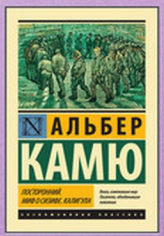
Альбер Камю

Посторонний



Часть сборника
Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула (сборник)

Посторонний
Альбер Камю

Аннотация
Альбер Камю. Посторонний
Часть первая
I
II
III
IV
V
VI
Часть вторая
I
II
III
IV
V

Аннотация

Дебютная повесть молодого писателя, своеобразный творческий манифест. Понятие абсолютной свободы — основной постулат этого манифеста. Героя этой повести судят за убийство, которое он совершил по самой глупой из всех возможных причин. И это правда, которую герой не боится бросить в лицо своим судьям, пойти наперекор всему, забыть обо всех условностях и умереть во имя своих убеждений.

Альбер Камю
Посторонний

© Editions Gallimard, Paris, 1942
© Перевод. Н. Галь, наследники, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

Часть первая

I

Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома призрения: «Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, вчера. Дом призрения находится в Маренго, за восемьдесят километров от Алжира. Выеду двухчасовым автобусом и еще засветло буду на месте. Так что успею побыть ночью у гроба и завтра вечером вернусь. Попросил у патрона отпуск на два дня, и он не мог мне отказать — причина уважительная. Но видно было, что недоволен. Я ему даже сказал: «Я ведь не виноват». Он не ответил. Тогда я подумал — не надо было так говорить. В общем-то мне нечего извиняться. Скорей уж он должен выразить мне сочувствие. Но потом, наверно, еще выразит — послезавтра, когда увидит меня в трауре. А пока еще не похоже, что мама умерла. Вот после похорон все станет ясно и определенно, так сказать — получит официальное признание.

Выехал двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Позавтракал, как всегда, в ресторане у Селеста. Там все огорчились за меня, а Селест сказал: «Мать-то у человека одна». Когда я уходил,

меня проводили до дверей. Напоследок спохватился, что надо подняться к Эмманюэлю — взять взаймы черный галстук и нарукавную повязку. Он месяца три назад схоронил дядю.

Чуть не упустил автобус, пришлось бежать бегом. Торопился, бежал, да потом еще в автобусе трясло и воняло бензином, дорога и небо слепили глаза, и от всего этого меня сморил сон. Проспал почти до Маренго. А когда проснулся, оказалось — привалился к какому-то солдату, он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я. Я сказал «да», разговаривать не хотелось.

От деревни до дома призрения два километра. Пошел пешком. Хотел сейчас же увидеть маму. Но привратник сказал — надо сперва зайти к директору. А он был занят, и я немного подождал. Пока ждал, привратник так и сыпал словами, а потом я увидел директора, он принял меня в кабинете. Это старичок с орденом Почетного легиона. Он посмотрел на меня ясными глазами. Потом пожал мне руку и долго не выпускал, я уж и не знал, как ее отнять. Он заглянул в какую-то папку и сказал:

— Госпожа Мерсо пробыла у нас три года. Вы были ее единственной опорой.

Мне показалось, он меня в чем-то упрекает, и я

начал было объясняться. Но он перебил:

— Не надо оправданий, дружок. Я перечитал бумаги вашей матушки. Вы были не в силах ее содержать. Она нуждалась в уходе, в сиделке. Заработки у вас скромные. Если все принять во внимание, у нас ей было лучше.

Я сказал:

— Да, господин директор.

Он прибавил:

— Понимаете ли, здесь ее окружали друзья, люди ее лет. У нее нашлись с ними общие интересы, которых нынешнее поколение не разделяет. А вы молоды, с вами она бы скучала.

Это верно. Когда мама жила со мной, она все время молчала и только неотступно провожала меня глазами. В доме призрения она первые дни часто плакала. Но это просто с непривычки. Через несколько месяцев она стала бы плакать, если бы ее оттуда взяли. Все дело в привычке. Отчасти из-за этого в последний год я там почти не бывал. И еще потому, что надо было тратить воскресный день, уж не говорю — тащиться до остановки, брать билет да два часа трястись в автобусе.

Директор еще что-то говорил. Но я почти не слушал. Потом он сказал:

— Вы, наверно, хотите видеть вашу матушку.

Я ничего не ответил и встал, он повел меня к двери. На лестнице он стал объяснять:

— У нас тут своя небольшая мертвецкая, мы перенесли покойницу туда. Чтобы не тревожить остальных. Каждый раз, как в нашем доме кто-нибудь умирает, остальные на два-три дня теряют душевное равновесие. И тогда затруднительно за ними ухаживать.

Мы пересекли двор, там было много стариков, они собрались кучками и толковали о чем-то. Когда мы проходили мимо, они смолкали. А за спиной у нас опять начиналась болтовня. Будто приглушенно трещали попугаи. У низенькой постройки директор со мной простился:

— Я вас покидаю, господин Мерсо. Но я к вашим услугам, вы всегда найдете меня в кабинете. Погребение назначено на десять часов утра. Мы полагали, что вы захотите провести ночь подле усопшей. И еще одно: говорят, ваша матушка в беседах не раз высказывала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сам обо всем распорядился, но хочу вас предупредить.

Я поблагодарил. Мама хоть и не была неверующей, но при жизни религией вовсе не интересовалась.

Вхожу. Внутри очень светло, стены выбелены

известкой, крыша стеклянная. Обстановка — стулья да деревянные козлы. Посередине, на таких же козлах, закрытый гроб. Доски выкрашены коричневой краской, на крышке выделяются блестящие винты, они еще до конца не ввинчены. У гроба — чернокожая сиделка в белом фартуке, голова повязана ярким платком.

Тут у меня над ухом заговорил привратник. Наверно, он догонял меня бегом.

Он сказал, запыхавшись:

— Гроб закрыт, но мне велели отвинтить крышку, чтоб вам поглядеть на покойницу.

И шагнул к гробу, но я его остановил.

— Не хотите? — спросил он.

— Нет, — сказал я.

Он отступил, и я смутился, не надо было отказываться. Потом он посмотрел на меня и спросил:

— Что ж так?

Не с упреком спросил, а словно из любознательности. Я сказал:

— Не знаю.

Тогда он покрутил седой ус и, не глядя на меня, заявил:

— Понятно.

Глаза у него были красивые, голубые, и красноватый загар. Он подал мне стул, а сам уселся

немного сзади. Сиделка поднялась и пошла к двери. Тут привратник сказал мне:

— У нее шанкр.

Я не понял и посмотрел на сиделку, лицо ее пересекала повязка. На том месте, где положено быть носу, повязка была плоская. На лице только и заметна белая повязка.

Когда она вышла, привратник сказал:

— Я вас оставлю одного.

Уж не знаю, верно, я сделал какое-то невольное движение, только он остался. Он стоял у меня за спиной, и мне это мешало. Комнату заливало яркое предвечернее солнце. В стекло с жужжаньем бились два шершня. Меня стало клонить в сон. Не оборачиваясь, я спросил привратника:

— Вы тут давно?

— Пять лет, — мигом ответил он, словно с самого начала ждал, что я про это спрошу.

И пошел трещать. Мол, вот уж никогда не думал, что будет доживать свой век в Маренго, привратником в богадельне. Ему уже шестьдесят четыре, он парижанин. Тут я его перебил:

— А, так вы не здешний?

Потом я вспомнил: прежде чем проводить меня к директору, он говорил про маму. Говорил, что надо хоронить поскорее, тут ведь Алжир, да еще

равнина, вон жара какая. Тогда-то он мне и сказал, что прежде жил в Париже и никак не может его забыть. В Париже с покойником не расстаются три дня, а то и четыре. А здесь нет времени, не успеешь свыкнуться с мыслью, что человек умер, как уже надо поспешать за дрогами. Тут жена его перебила: «Замолчи ты, молодому человеку незачем про это слушать». Старик покраснел и извинился. Тогда я вмешался и сказал: «Нет-нет, ничего». По-моему, все, что он говорил, было верно и интересно.

Потом, в мертвецкой, он мне объяснил, что в дом призрения попал по бедности. Но он еще крепок, вот и вызвался служить привратником. Я заметил — значит, он тоже здешний пансионер. Он возразил — ничего подобного! Меня еще раньше удивило, как он говорил про здешних жителей: «они», «эти», иногда — «старики», а ведь некоторые из них были ничуть не старше его. Но, конечно, это совсем другое дело. Он ведь привратник и в какой-то мере над ними начальство.

Тут вошла сиделка. Неожиданно настал вечер. Над стеклянной крышей вдруг сгустилась тьма. Привратник повернул выключатель, и меня ослепил яркий свет. Потом он предложил мне пойти в столовую пообедать. Но есть не хотелось. Он

сказал, что принесет мне чашку кофе с молоком. Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком, и через минуту он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Захотелось курить. Сперва я сомневался, можно ли курить возле мамы. А потом подумал, что это не имеет значения. Предложил привратнику сигарету, и мы закурили.

Немного погодя он сказал:

— А знаете, друзья вашей матушки тоже придут посидеть около нее. Такой здесь обычай. Пойду принесу еще стульев и черного кофе.

Я спросил, нельзя ли погасить хоть одну лампу. Яркий свет отражался от побеленных стен, это было утомительно. Привратник сказал — ничего не поделаешь. Так уж тут устроено: либо горят все лампы сразу, либо ни одной. После этого я его почти не замечал. Он вышел, вернулся, расставил стулья. На один стул поставил кофейник и нагромоздил чашки. Потом уселся напротив меня, по ту сторону гроба. Сиделка все время оставалась в глубине комнаты, спиной к нам. Мне не видно было, что она делает. Но по движениям локтей я догадался — наверно, вяжет. Было тихо, я выпил кофе и согрелся, из открытой двери тянуло запахом ночи и цветов. Кажется, я вздремнул.

Меня разбудил шорох. Я успел отвыкнуть от яр-

кого света, и выбеленные стены совсем ослепили меня. Теней не было, каждый предмет, каждый угол и изгиб вырисовывались так четко, что резало глаза. В комнату входили мамины друзья. Их было человек двенадцать, они неслышно скользили в слепящем свете. Они уселись, и ни один стул не скрипнул. Никогда никого я не видел так ясно, до последней морщинки, до последней складки одежды. Однако их совсем не было слышно, просто не верилось, что это живые люди. Почти все женщины были в фартуках, перетянутых в талии шнурком, от этого еще заметней выдавались животы. Никогда прежде я не замечал, что у старух бывает такой большой живот. Мужчины были почти все тощие и опирались на палки. Больше всего меня поразило в их лицах, что я не мог разглядеть глаз, только что-то мерцало в сети морщин.

Когда они уселись, многие посмотрели на меня и неловко наклонили головы; у всех были беззубые, запавшие рты; я не мог понять, то ли они со мной здороваются, то ли головы их трясутся от старости. Наверно, все-таки это они со мной здоровались. Тут я заметил, что все они, качая головами, сидят напротив меня, по обе стороны от привратника. У меня мелькнула нелепая мысль,

будто они собрались, чтобы меня судить.

Вскоре одна женщина заплакала. Она сидела во втором ряду, позади другой старухи, и я плохо ее видел. Она плакала на одной ноте, то и дело всхлипывая; казалось, она никогда не перестанет. Другие словно не слышали. Они все как-то обмякли, сидели хмурые, молчаливые. Каждый уставился в одну точку — кто на гроб, кто на собственную палку, на что попало — и уж больше никуда не смотрел. А та женщина все плакала. Очень странно, совсем незнакомая женщина. Мне хотелось, чтобы она замолчала. Но я не решался ей это сказать. Привратник наклонился к ней, заговорил, но она только мотнула головой, что-то пробормотала и продолжала все так же всхлипывать на одной ноте. Тогда привратник обошел гроб и сел рядом со мной. Долго молчал, потом сказал, не глядя на меня:

— Она была очень привязана к вашей матушке. Она говорит, ваша матушка одна здесь была ей другом, а теперь у нее никого не осталось.

Мы долго так сидели. Понемногу та женщина стала вздыхать и всхлипывать реже. Она еще какое-то время сопела и наконец утихла. Спать больше не хотелось, но я устал, ныла поясница. Теперь меня тяготило, что все они сидят так тихо.

Только изредка слышался какой-то странный звук, я не мог разобрать, откуда он. Потом наконец понял: некоторые старики всасывали щеки внутрь, и тогда в беззубом рту странно щелкало. А они этого не замечали, слишком заняты были своими мыслями. Мне даже показалось, что они собрались вокруг покойницы вовсе не ради нее самой. Теперь-то я думаю — это мне просто показалось.

Привратник налил всем кофе, и мы выпили. Что было дальше, не знаю. Миновала ночь. Помню, какую-то минуту я открыл глаза и вижу: все старики спят, обмякнув на стульях, только один не спит — стиснул обеими руками палку, оперся на них подбородком и уставился на меня, словно только того и ждал, чтоб я проснулся. Потом я опять задремал. Проснулся оттого, что у меня все сильнее ныла поясница. Над стеклянной крышей посветлело. Немного погодя проснулся один из стариков и надолго раскашлялся. Он все сплевывал в огромный клетчатый платок, и всякий раз у него словно что-то рвалось внутри. Кашель разбудил остальных, и привратник сказал, что им пора уходить. Они поднялись. После утомительного бдения лица у всех стали серые. Очень странно: уходя, каждый пожал мне руку, будто

эта ночь, когда мы не обменялись ни словом, нас сблизила.

Я устал. Привратник проводил меня в сторожку, и я немного привел себя в порядок. Выпил еще чашку кофе с молоком, было очень вкусно. Когда я вышел из сторожки, уже совсем рассвело. Над холмами, которые отгораживают Маренго от моря, небо закраснелось. И ветер доносил из-за холмов соленый запах. Отличный начинался денек. Давно уже я не бывал за городом, и так приятно было бы прогуляться, если бы не мама.

А теперь я ждал во дворе, под платаном. Вдыхал свежий запах земли, и спать больше не хотелось. Вспомнил о сослуживцах. В этот час они встают и собираются на работу — для меня это всегда самое трудное время. Я еще немного подумал обо всем этом, а потом в доме зазвонил колокол и отвлек меня. За окнами началась суета, потом все опять успокоилось. Солнце поднялось немного выше и пригревало мне ноги. Подошел привратник и сказал, что меня ждет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал мне подписать какие-то бумаги. На нем был черный сюртук и брюки в полоску. Он взялся за телефон и сказал мне:

— Прибыли люди из похоронного бюро. Сейчас я велю окончательно закрыть гроб. Угодно вам

до этого в последний раз посмотреть на вашу матушку?

Я сказал — нет. Понизив голос, он распорядился по телефону:

— Фижак, велите им, пусть приступают.

Потом сказал мне, что и сам будет на похоронах, и я поблагодарил. Он сел за письменный стол, скрестил свои коротенькие ножки. Мы с ним будем одни да еще дежурная сиделка, сказал он. Обитателям дома не полагается присутствовать при погребении. Он только разрешает им посидеть возле покойника ночь.

— Нельзя забывать о человеколюбии, — заметил он.

Но на сей раз он позволил одному пансионеру проводить покойницу.

— Тома Перез — старый друг вашей матушки. — Тут директор улыбнулся. — Понимаете, чувство это немного ребяческое. Но они с вашей матушкой были неразлучны. В доме над ними подшучивали, Переза называли женихом. Он смеялся. Им обоим это было приятно. И надо признать, что смерть госпожи Мерсо для него тяжелый удар. Я не счел нужным ему отказывать. А вот провести ночь у гроба я ему запретил — так посоветовал наш врач.

Потом мы довольно долго молчали. Директор поднялся и выглянул в окно. Чуть погодя он заметил:

— А вот и священник. Даже раньше времени.

И предупредил, что приходская церковь — в самой деревне Маренго и до нее идти по меньшей мере три четверти часа. Мы вышли из кабинета. Перед домом стояли священник и два мальчика-служки; один служка держал кадильницу, а священник, наклонясь, подтягивал серебряную цепочку. Когда мы подошли, он выпрямился. Он назвал меня «сын мой» и сказал мне несколько слов. Потом вошел в мертвецкую; я последовал за ним.

Я тотчас заметил, что теперь винты глубоко ушли в дерево, и увидел четырех человек в черном. Директор сказал, что катафалк уже ждет, и тут священник начал читать молитву. Все пошло очень быстро. Люди в черном с покровом в руках подступили к гробу. Священник, служки, директор и я вышли из мертвецкой. У двери ждала какая-то почтенная женщина, прежде я ее не видел.

— Господин Мерсо, — представил меня директор.

Имени этой женщины я не расслышал, понял

только, что она здешняя сиделка. Она поклонилась без улыбки, лицо у нее было длинное и очень худое. Потом мы все посторонились, давая дорогу носильщикам. Они вынесли гроб, и мы вышли вслед за ними из ворот. За воротами ждал катафалк. Длинный, блестящий, лакированный, совсем как пенал. Рядом стояли распорядитель — низенький, нелепо одетый человечек — и старик, которому явно было не по себе. Я понял, что это и есть Перез. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглой тульей и широкими полями (когда выносили гроб, он ее снял), костюм не по росту, так что штанины гармошкой свисали на башмаки, на шее — черный бант, чересчур маленький для рубашки с таким широким белым воротничком. Нос угреватый, губы трясутся. Под редкими седыми волосами видны престранные уши — нелепой формы, торчащие и притом багрово-красные, это меня поразило, потому что сам он был мертвенно-бледен. Распорядитель объяснил нам, какой будет порядок. Впереди всех священник, за ним — катафалк. Вокруг катафалка — четверо в черном. Позади — мы с директором, а замыкают шествие сиделка и господин Перез.

Небо наполнилось солнцем. Уже начинало припекать, жара с каждой минутой усиливалась.

Не знаю, почему мы так долго не двигались с места. В темном костюме я запарился. Старичок Перез надел было шляпу, но опять снял. Я слегка повернулся в его сторону и слушал, что говорит про него директор. Тот рассказывал, что по вечерам мама с Перезом часто ходили гулять, их сопровождала сиделка, и они доходили до самой деревни. Я поглядел вокруг. Вереницы кипарисов тянулись к холмам у горизонта, меж кипарисами сквозила земля — где зеленая, где рыжая, — отчетливо вырисовывались редкие домики, и я понимал маму. Должно быть, вечер в этом краю — как раздумчивое затишье. А вот сейчас под неукротимым солнцем все вокруг содрогается и в свой черед становится гнетущим и жестоким.

Мы двинулись в путь. И тут я заметил, что Перез прихрамывает. Дроги катили все быстрей, и старик понемногу отставал. Один из тех четверых тоже дал дрогам себя обогнать и пошел рядом со мной. Удивительно, как быстро солнце поднималось все выше. Оказалось, в полях давно уже гудят и жужжат насекомые, шелестит трава. У меня по щекам струился пот. Шляпу я не захватил и обмахивался носовым платком. Служащий похоронного бюро что-то мне сказал, но я не расслышал. Он вытирал лысину платком,

платок держал в левой руке, правой приподнимал фуражку. Я переспросил:

— Что?

Он показал на небо и повторил:

— Ну и шпарит.

— Да, — сказал я.

Немного погодя он спросил:

— Вы покойнице кто — сын?

Я опять сказал — да.

— Старая она была?

— В общем, да, — сказал я, потому что не знал точно, сколько ей было лет.

Тогда он замолчал. Я обернулся и увидел, что старик Перез отстал уже метров на пятьдесят. Он торопился как мог, размахивал руками, в одной руке он держал шляпу. Поглядел я и на директора. Он шагал с большим достоинством, не делая ни одного лишнего движения. На лбу его блестели капли пота, но он их не вытирал.

Казалось, процессия понемногу ускоряет шаг. Вокруг сверкала и захлебывалась солнцем все та же однообразная равнина. Небо слепило нестерпимо. Одно время мы шли по участку дороги, который недавно чинили. Солнце расплавило гудрон. Ноги вязли в нем и оставляли раны в его сверкающей плоти. Клеенчатый цилиндр

возницы маячил над катафалком, словно тоже сплетенный из этой черной смолы. Я почувствовал себя затерянным между белесой, выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк. Солнце, запах кожи и конского навоза, исходивший от катафалка, запах лака и ладана, усталость после бессонной ночи… от всего этого у меня мутилось в глазах и путались мысли. Я опять обернулся — Перез маячил далеко позади, в знойной дымке, а потом и вовсе пропал из виду. Я стал озираться и увидел: он сошел с дороги и двинулся через поля. Оказалось, впереди дорога описывает дугу. Стало быть, Перез, которому эти места хорошо знакомы, решил срезать напрямик, чтобы нас нагнать. На повороте он к нам присоединился. Потом мы опять его потеряли. Он снова пошел наперерез, полями, и так повторялось несколько раз. Кровь стучала у меня в висках.

Дальше все разыгралось так быстро, слаженно, само собой, что я ничего не запомнил. Разве только одно: когда мы входили в деревню, сиделка со мной заговорила. У нее оказался необыкновенный голос, звучный, трепетный, очень неожиданный при таком лице. Она сказала:

— Медленно идти опасно, может случиться солнечный удар. А если заторопишься, бросает в пот, и тогда в церкви можно простыть.

Да, правда. Выхода не было. В памяти уцелели еще какие-то обрывки этого дня — например, лицо Переза, когда у самой деревни он нас перехватил в последний раз. От усталости и горя по щекам его текли крупные слезы. Но морщины не давали им скатиться. Слезы расплывались и опять стекались и затягивали иссохшее лицо влажной пленкой. Была еще церковь, и деревенские жители на тротуарах, и кладбище, на могилах краснела герань, и Перез упал в обморок (точь-в-точь марионетка, которую уже не дергают за нитки), и красная как кровь земля сыпалась на мамин гроб, мешаясь с белым мясом перерезанных корней, и еще люди, голоса, деревня, ожидание на остановке перед кафе, потом непрестанное урчанье мотора, и как я обрадовался, когда автобус покатил среди огней по улицам Алжира, и я подумал: вот лягу в постель и просплю двенадцать часов кряду.

II

Проснувшись, я понял, отчего у патрона был недовольный вид, когда я просил отпуск на два дня: нынче суббота. Я про это почти забыл, а когда начал вставать — вспомнил. Конечно, патрон сразу подумал, что вместе с воскресеньем у меня выйдет четыре свободных дня, и, понятно, это ему не понравилось. Но, с одной стороны, я не виноват, что маму хоронили вчера, а не сегодня, а с другой стороны, в субботу и воскресенье я бы все равно не работал. Впрочем, я прекрасно понимаю, что патрону это не нравится.

Поднялся я с трудом, потому что накануне устал. Пока брился, думал, как бы провести время, и решил искупаться. Сел в трамвай и поехал в купальни у порта. Кинулся в воду и поплыл. Тут было много молодежи. В воде встретился с Мари Кардона, когда-то она работала у нас в конторе машинисткой, в ту пору я ее хотел. И она, кажется, тоже. Но мы не успели, она очень быстро уволилась. Сейчас я помог ей взобраться на поплавок и при этом коснулся ее груди. Я еще не вылез из воды, а она уже растянулась на поплавке. И повернулась ко мне. Волосы падали ей на глаза, и

она смеялась. Я подтянулся и пристроился с ней рядом. Было славно, я откинулся назад и, точно в шутку, положил голову ей на живот. Она ничего не сказала, и я так и остался лежать. Прямо в глаза мне смотрело просторное небо, синее и золотое. Затылком я чувствовал, как тихонько поднимается и опускается от дыхания живот Мари. Мы долго лежали, полусонные, на поплавке. Когда солнце стало слишком припекать, она нырнула, я за ней. Я догнал ее, обнял за талию, и мы поплыли вместе. Она все время смеялась. На пристани, когда мы сохли, она сказала:

— А я загорела сильней, чем вы.

Я спросил, не пойдет ли она вечером в кино. Она опять засмеялась и сказала, что ей хочется посмотреть картину с Фернанделем. Когда мы оделись, она очень удивилась, что на мне черный галстук, и спросила — разве я в трауре? Я сказал — умерла мама. Она спросила — когда, и я сказал — вчера. Она отступила на шаг, но промолчала. Я хотел было сказать, что я ведь не виноват, да вспомнил, что уже говорил это патрону. Ну, не важно. Все равно, как ни крути, всегда окажешься в чем-нибудь да виноват.

Вечером Мари обо всем забыла. Картина была временами забавная, а в общем, преглупая. Нога

Мари прижималась к моей. Я гладил ее грудь. Под конец сеанса я ее поцеловал, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне.

Когда я проснулся, Мари уже ушла. Она еще раньше объяснила, что ей надо навестить тетку. Я вспомнил, что нынче воскресенье, и мне стало скучно — не люблю воскресений. Повернулся на другой бок, вдохнул с подушки запах моря от волос Мари и проспал до десяти часов. Потом лежал в постели до двенадцати, курил сигареты. Завтракать, как обычно, у Селеста не хотелось: там, конечно, стали бы расспрашивать, а я этого не люблю. Поджарил себе яичницу и съел прямо со сковородки без хлеба — дома не было ни крошки, а идти покупать не хотелось.

После завтрака мне стало скучновато, и я начал бродить по квартире. При маме тут было удобно. А для одного квартира слишком велика, пришлось перетащить к себе стол из столовой. Так я теперь и живу в одной комнате, тут у меня стоят соломенные стулья, уже немного продавленные, зеркальный шкаф (зеркало пошло желтыми пятнами), туалетный столик и кровать с медными прутьями. Остальное все в забросе. Немного погодя от нечего делать я взял старую газету и стал читать. Вырезал рекламу слабительной соли и

наклеил в старую тетрадь, я туда вклеиваю все, что попадется в газетах забавного. Потом вымыл руки и наконец шагнул на балкон.

Моя комната выходит на главную улицу предместья. День стоял погожий. Но накатанная мостовая жирно блестела, прохожих было мало, и почему-то они торопились. Некоторые вышли на прогулку всей семьей. Сперва прошли два мальчугана, будто одеревеневшие в парадных наглаженных матросках и в штанах ниже колен, и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними — огромная, толстая мамаша в коричневом шелку и маленький, щуплый папаша, я его знаю в лицо. На нем галстук бабочкой, жесткая соломенная шляпа, в руке трость. Увидав его рядом с женой, я понял, почему в нашем квартале он считается человеком весьма достойным. Немного спустя прошли молодые люди — волосы напомажены, красные галстуки, пиджаки в талию, из нагрудных карманов торчат вышитые платочки, у башмаков квадратные носы. Видно, собрались в город, в кино. Потому они и вышли спозаранку, и спешат к трамваю, и хохочут во все горло.

Потом улица понемногу опустела. Наверно, всюду начались сеансы. На улице остались толь-

ко лавочники да кошки. Над фикусами, которые растут вдоль домов, небо чистое, но неяркое. Хозяин табачной лавки, что через дорогу, выставил стул на тротуар у входа и уселся верхом, опершись локтями на спинку. Еще недавно трамваи были набиты битком, а сейчас идут почти пустые. Рядом с табачной лавкой, в маленьком кафе «У Пьеро», безлюдно, официант посыпал пол опилками и подметает. Сразу видно — воскресенье.

Я повернул свой стул и тоже, как торговец табаком, оседлал его — оказывается, так удобнее. Выкурил две сигареты, вернулся в комнату, отломил кусок шоколада, подошел к окну и стал жевать. Вскоре небо нахмурилось, и я подумал, что налетит летняя гроза. Но понемногу опять прояснилось. Однако после того как прошли облака, улица так и осталась хмурой, будто в предчувствии дождя. Я еще долго сидел и смотрел на небо.

В пять часов с грохотом прикатили трамваи. Они везли народ с дальнего стадиона, люди гроздьями висели по бокам и на подножках. Следующие вагоны привезли игроков, я их признал по чемоданчикам. Они орали и пели песни во славу своей непобедимой команды. Некоторые махали мне руками. Один даже крикнул:

— Наша взяла!

И я кивнул в ответ.

После этого потоком хлынули машины.

День еще немного померк. Небо над крышами стало краснеть, и с наступлением вечера улицы оживились. Люди возвращались с прогулки. Среди прочих я узнал достойного отца семейства. Детишки хныкали и едва плелись, их тащили за руку. И сейчас же кинотеатры всего квартала выплеснули на улицу волну зрителей. Молодые люди шагали решительней обычного и энергичней размахивали руками — наверно, фильм был приключенческий. Те, кто ездил в кино в центр города, вернулись позже. Эти держались серьезнее. Иногда они смеялись, но чаще лица у них были усталые и задумчивые. Они не расходились по домам, а прогуливались взад и вперед по тротуару напротив. Девушки с непокрытыми головами гуляли, взявшись под руки. Молодые люди нарочно шли им навстречу и отпускали всякие шуточки, а они со смехом отворачивались. С некоторыми девушками я был знаком, они кивали мне и улыбались.

Внезапно зажглись уличные фонари, и первые проглянувшие в небе звезды побледнели. Оттого, что я долго смотрел на улицу, полную огней и

прохожих, у меня зарябило в глазах. Мостовая лоснилась под лучами фонарей, в отсвете проходящих трамваев порой вспыхивали чьи-то волосы, улыбка или серебряный браслет. Понемногу трамваи стали реже, небо над деревьями и фонарями совсем почернело, квартал незаметно опустел, и вот уже совсем безлюдную улицу лениво перебежала первая кошка. Тут я подумал, что надо бы пообедать. Я так долго сидел, опершись на спинку стула, что у меня затекла шея. Я вышел купить хлеба и макарон, сварил макароны и стоя поел. Хотел было выкурить у окна еще сигарету, но потянуло холодом, и мне стало зябко. Я закрыл окно и, отходя от него, увидел в зеркале угол стола и на нем спиртовку и куски хлеба. И подумал — вот и прошло воскресенье, маму похоронили, завтра я пойду на работу, и, в сущности, ничего не изменилось.

III

Сегодня в конторе у меня набралось много дела. Патрон был любезен. Спросил, сильно ли я устал, и тоже поинтересовался, сколько маме было лет. Чтобы не ошибиться, я сказал просто: «Седьмой десяток». И почему-то у него на лице выразилось облегчение, словно он решил, что говорить больше не о чем.

У меня на столе громоздилась куча накладных, надо было все их разобрать. Перед тем как пойти завтракать, я вымыл руки. Среди дня это очень приятно. Вечером мне это меньше нравилось: полотенцем возле умывальника пользуется вся контора, и за день оно становится совсем мокрое. Однажды я сказал об этом патрону, он ответил — да, нехорошо, но, в сущности, это мелочь. Завтракать я пошел немного позже обычного, в половине первого, вместе с Эмманюэлем — он служит в экспедиции. Наша контора обращена к морю, и мы минуту-другую помешкали — смотрели на торговые суда в залитой солнцем гавани. Тут, треща выхлопной трубой и гремя цепями, появился грузовик. Эмманюэль сказал: «Поехали?» — и я кинулся бежать. Грузовик уже

прокатил дальше, мы бросились вдогонку. Меня захлестнуло грохотом и пылью. Я уже ничего не видел и не чувствовал, мы мчались очертя голову между лебедок и машин, мимо посудин у причалов, мачты качались и чиркали по небу. Я первым ухватился за борт грузовика и забрался в кузов. Потом помог Эмманюэлю. Мы еле переводили дух, грузовик подскакивал на неровной брусчатке набережной, среди солнца и пыли. Эмманюэль закатывался хохотом.

Взмокшие, потные, мы ввалились к Селесту. Он был тут как тут, толстопузый, в белом переднике и с белыми усами. Он спросил меня: «Ну как, держишься?» Я сказал «да» и еще сказал, что хочу есть. Мигом все съел, выпил кофе. Пошел домой, немного поспал, потому что за завтраком выпил лишнее, а когда проснулся, захотелось курить. Побоялся опоздать и побежал к трамваю. Работал до вечера. В конторе стояла духота, и вечером я с наслаждением, не торопясь, возвращался по набережной пешком. Небо стало зеленое, мне было хорошо и спокойно. Все же я пошел прямо домой, потому что хотел сварить себе картошки.

Поднимаясь по неосвещенной лестнице, я столкнулся со стариком Саламано — мы живем на одной площадке. Он выводил свою собаку. Уже

восемь лет они неразлучны. У этого спаниеля какая-то накожная болезнь, лишай наверно, — он весь облезлый, в болячках и в бурой коросте. Старик Саламано ютится со своим псом в тесной комнатенке и за долгие годы сам стал похож на него. Лицо в красноватых струпьях, редкие выцветшие волосы. А пес перенял у хозяина повадку — какой-то он сутулый, шею вытянул, голову повесил. Похоже, что оба одной породы — и, однако, они друг друга ненавидят. Дважды в день, в одиннадцать и в шесть, старик выводит пса на прогулку. За восемь лет маршрут ни разу не менялся. Они идут по Лионской улице, пес изо всех сил натягивает поводок, старик Саламано начинает спотыкаться. Тогда он колотит пса и ругательски его ругает. Струсив, пес приседает и упирается. Теперь уже старик тянет его за собой. Но стоит псу забыться, и он снова тащит хозяина вперед, а тот опять бьет его и ругает. Станут посреди тротуара и смотрят друг на друга — собака со страхом, человек с ненавистью. И так изо дня в день. Когда пес задирает ногу, старик не дает ему времени и тащит вперед, и за собакой остается след — цепочка мелких капель. И если собаке случится напакостить в комнате, на нее снова сыплются побои. Все это длится восемь лет. Селест

говорит, что Саламано — негодяй, но ведь никто не знает, как оно на самом деле. Когда я встретил старика на лестнице, он осыпал пса бранью.

— Сволочь! — говорил он. — Подлюга!

Пес в ответ скулил. Я сказал:

— Добрый вечер!

Но старик все ругался. Тогда я спросил, что пес ему сделал. Саламано не ответил, только повторял:

— Сволочь! Подлюга!

В темноте я едва разглядел, что он наклонился над собакой и как будто поправляет ошейник. Я спросил еще раз, погромче. Тогда он ответил, не оборачиваясь, с еле сдерживаемой яростью:

— Опостылел он мне…

И ушел, волоча за собой пса, а тот скулил и упирался всеми четырьмя лапами.

Тут вошел другой мой сосед по лестничной площадке. В нашем квартале он слывет сутенером. Но когда его спрашивают, чем он занимается, он называет себя кладовщиком. Все его недолюбливают. Однако со мной он часто заговаривает, а иногда на минуту заходит ко мне, потому что я готов его слушать. По-моему, он рассказывает интересно. И у меня нет причин с ним не разговаривать. Зовут его Раймон Синтес. Он небольшого

роста, плечи широкие, нос как у боксера. Одет всегда с иголочки. Он тоже сказал мне про Саламано:

— Вот негодяй!

И спросил, не противно ли мне все это, а я сказал — нет.

Мы поднялись по лестнице, я хотел уйти к себе, но он сказал:

— У меня есть вино и кровяная колбаса. Может, присоединитесь?

Я подумал, не придется готовить себе ужин, и согласился. У Раймона, как и у Саламано, только одна комната да темная, без окна, кухня. Над кроватью — бело-розовый гипсовый ангел, фотографии чемпионов, две или три картинки, вырезанные из журнала, — голые женщины. В комнате грязно, постель не прибрана. Раймон первым делом зажег керосиновую лампу, потом вытащил из кармана сомнительной чистоты бинт и стал перевязывать себе правую руку. Я спросил, что с рукой. Он объяснил: пристал к нему один фрукт, вот и пришлось подраться.

— Понимаете, господин Мерсо, я человек не злой, но нрав у меня горячий. Тот фрукт мне говорит: «Выходи из трамвая, если ты мужчина!» Я говорю: «Да ладно, отстань». А он мне: ты, мол, не

мужчина. Ну я вышел с ним из вагона и говорю: «Лучше отвяжись, не то получишь». А он отвечает: «Черта с два!» Ну тут я ему врезал. Он свалился. Я хотел его поднять. А он лежит и отбивается ногами. Я ему наподдал коленом и еще по морде — раз, раз! В кровь разбил. Спрашиваю: ну как, мол, хватит с тебя? Он говорит: «Хватит».

Рассказывая, Синтес перевязывал руку. Я сидел на его постели. Он сказал еще:

— Понимаете, я к нему не приставал. Он первый меня оскорбил.

Я согласился, что так оно и выходит. Тогда он заявил, что как раз хотел со мной насчет этого посоветоваться, я-то мужчина, притом человек бывалый, и могу ему помочь, и тогда он станет мне другом-приятелем. Я промолчал; тогда он спросил, хочу ли я стать ему другом. Я сказал, что мне все равно, и он, видно, был доволен. Он вытащил колбасу, поджарил ее на сковородке, расставил стаканы, тарелки, достал ножи, вилки и две бутылки вина. И все это молча. Потом мы сели за стол. За едой он начал рассказывать о своих делах. Сперва он немного мялся.

— Я водил знакомство с одной… собственно говоря, она моя любовница…

Человек, с которым он подрался, — брат этой

женщины. Раймон сказал, что содержал ее. Я промолчал, и, однако, он сейчас же прибавил, что знает, какие про него ходят сплетни по всему кварталу, но совесть его чиста, он работает кладовщиком.

— Так вот, — продолжал он, — заметил я, что меня водят за нос.

Он давал любовнице ровно столько, чтоб хватало на жизнь. Сам снимал ей комнату и давал двадцать франков в день на еду.

— Триста франков за комнату, шестьсот на еду, время от времени пара чулок — вот вам тысяча франков. И дамочка не работала. Но вечно уверяла, что этих денег ей никак не хватает. Я ей говорю: «Пошла бы работать на полдня. Избавила бы меня от мелких расходов. Я тебе в этом месяце купил костюм, я тебе даю двадцать франков в день, я плачу за твою комнату, а ты еще среди дня распиваешь с приятельницами кофе. Угощаешь их кофе с сахаром. И все на мои деньги. Я с тобой по-хорошему, а ты как поступаешь?» Но она не работала, только знай твердила, что денег ей никак не хватает, ну под конец я и понял, что меня водят за нос.

И Раймон рассказал мне, что нашел в сумочке у любовницы лотерейный билет, и она не могла

объяснить, на какие деньги его купила. Немного позже он нашел у нее квитанцию — оказалось, она заложила в ломбарде два браслета. А он и не подозревал, что у нее есть браслеты.

— Тут-то я ее и раскусил. И тогда я с ней расстался. Но сперва отлупил ее. И выложил начистоту, что́ я про нее думаю. Ты, говорю, только и знаешь, что забавляешься в постели с кем попало. Понимаете, господин Мерсо, я ей так и сказал, я, говорю, тебя осчастливил, все тебе завидуют, а ты не ценишь. Еще пожалеешь, да поздно будет.

Он избил ее в кровь. Прежде он ее не бил.

— Поколачивал, но только так, любя. Она, бывало, всплакнет, я закрою ставни, и все кончается самым обыкновенным образом. А на этот раз дело серьезное. И, скажу вам, я еще не проучил ее как следует.

Он объяснил, что тут-то ему и нужен мой совет. Потом остановился и поправил фитиль, потому что лампа коптила. Я молчал и слушал. Я выпил чуть не литр вина, и у меня сильно шумело в голове. Я курил сигареты Раймона, своих у меня не осталось. Проходили последние трамваи, унося с собой затихающие отголоски дневного шума. Раймон продолжал рассказывать. Он еще не охладел к этой шлюхе, вот что досадно.

Но он непременно ее проучит. Сперва он хотел привести ее куда-нибудь в гостиницу и вызвать полицию нравов: пускай разыграется скандал и она получит желтый билет. Потом обратился к друзьям — у него в этих кругах есть свои люди. Они ничего путного не присоветовали. Что толку после этого водить с ними дружбу, заметил Раймон. Он им так и сказал, и тогда они предложили поставить ей на роже метку. Но ему не это нужно. Он еще поразмыслит. Но сперва он хочет меня кое о чем попросить. Нет, еще прежде того вопрос: что я думаю обо всей этой истории? Я сказал — ничего не думаю, просто это любопытно. А как я думаю, обманывала она его? Да, пожалуй, обманывала. А как я думаю, надо ее проучить? И как бы я поступил на его месте? Я ответил — трудно сказать, но что он хочет ее проучить — это я понимаю. Потом я выпил еще вина. Раймон закурил сигарету и раскрыл мне свой план. Он напишет ей письмо, в котором «даст ей по морде» и в то же время заставит раскаяться. А потом, когда она вернется, он ляжет с ней в постель и «в самую последнюю минуту» плюнет ей в лицо и выгонит вон. Я согласился — да, таким образом она и вправду будет наказана. Но Раймон сказал, что он, пожалуй, не сумеет составить такое

письмо, вот он и подумал — может, я напишу за него. Я ничего не ответил, и он предложил, если я не против, заняться этим сейчас же. Я сказал, что не против.

Он выпил стакан вина и поднялся. Отодвинул тарелки и остатки застывшей в жиру колбасы. Старательно вытер клеенку на столе. Вынул из ящика ночного столика лист бумаги в клетку, желтый конверт, красную деревянную ручку и квадратную чернильницу с лиловыми чернилами. Когда он назвал имя женщины, стало ясно, что она мавританка. Я сочинил письмо. Писал отчасти наобум, но старался, чтобы Раймон был доволен, — в сущности, отчего бы и не постараться? Потом прочел ему письмо вслух. Он слушал, курил и качал головой, потом попросил прочесть еще раз. Остался вполне доволен. И сказал мне:

— Я же знал, что ты человек бывалый.

Не сразу я заметил, что он перешел на «ты». Только когда он заявил: «Вот теперь ты мне настоящий друг!» — меня это поразило. Он повторил то же самое еще раз, и я сказал: «Да». Мне все равно, друг так друг, а ему, видно, вправду этого хотелось. Он запечатал письмо, и мы допили вино. Потом посидели молча, покурили. На улице стало совсем тихо, прошуршала шинами одинокая

машина. Я сказал:

— Уже поздно.

Раймон тоже так думал. Он сказал — время идет быстро, — и в некотором смысле это верно. Меня клонило ко сну, но я никак не мог подняться. Наверно, у меня был усталый вид, потому что Раймон сказал — не надо вешать нос. Я сперва не понял. Тогда он объяснил: он слышал, что я похоронил маму, но ведь рано или поздно все помрем. Я согласился.

Потом я встал. Раймон крепко пожал мне руку и сказал, что настоящие мужчины всегда поймут друг друга. Я вышел, затворил дверь и минуту постоял в темноте на площадке. Дом спал, снизу по лестнице тянуло чем-то сырым и смутным. Я стоял не шевелясь, но ничего не услышал, только в ушах шумело. Да в комнате старика Саламано глухо проскулил пес.

IV

Всю неделю я много работал. Как-то зашел Раймон и сказал, что отослал то письмо. Два раза я ходил с Эмманюэлем в кино, он часто не понимает, что делается на экране. Надо ему объяснять. Вчера, в субботу, как мы уговорились, приходила Мари. На ней было красивое платье в белую и красную полоску и кожаные сандалии, и я очень ее захотел. Под платьем угадывались ее крепкие груди, смуглое от загара лицо было как цветок. Мы сели в автобус и поехали за несколько километров от Алжира на маленький пляж — он прячется между скал, а от суши его отгораживают тростники. В четыре часа солнце уже не такое жаркое, но вода теплая. Не спеша поплескивала пологая ленивая волна.

Мари обучила меня игре: когда плывешь, надо втянуть ртом пену с гребня волны, перевернуться на спину и дунуть в небо фонтаном. Брызги рассеиваются в воздухе, точно кружево, или падают на лицо теплым дождем. Но скоро от горько-соленой воды стало жечь во рту. Мари подплыла ближе и в воде прильнула ко мне. Прижалась губами к моим губам, провела по ним языком. Рот у меня

перестал гореть, и мы немного покачались на волнах.

Потом мы вышли на песок и стали одеваться. Мари смотрела на меня блестящими глазами. Я обнял ее. После этого мы больше не разговаривали. Я прижал ее к себе, и мы заторопились к автобусу, сразу пошли ко мне и бросились на постель. Я оставил окно настежь. Летняя ночь омывала наши опаленные солнцем тела, и это было славно.

Утром Мари осталась у меня, и я сказал — давай позавтракаем вместе. И вышел купить чего-нибудь поесть. Когда возвращался, услыхал в комнате Раймона женский голос. Немного погодя заворчал на своего пса старик Саламано. По деревянным ступеням зашаркали подошвы, заскребли когти, и послышалось знакомое:

— Сволочь! Подлюга!

Они вышли на улицу. Я рассказал Мари про старика, и она засмеялась. На ней была моя пижама, рукава она подвернула. Когда она засмеялась, я опять ее захотел. Немного погодя она спросила:

— Ты меня любишь?

Я ответил, что это пустые слова, они ничего не значат, но, пожалуй, не люблю. Лицо у нее стало грустное. Но, готовя завтрак, она ни с того ни с

сего опять засмеялась так, что я ее обнял. И в эту минуту в комнате Раймона поднялся шум.

Сперва мы услышали пронзительный женский крик, потом голос Раймона:

— Ты меня обманула, да, обманула! Я тебе покажу, как меня обманывать!

Раздались глухие удары, и женщина завопила, да так отчаянно, что на лестницу тотчас выбежали жильцы. Мы с Мари тоже вышли. Женщина все кричала, а Раймон все осыпал ее ударами. Мари сказала — какой ужас. Я не ответил. Она попросила, чтобы я позвал полицию, но я сказал — не люблю полицейских. Однако полицейский пришел, его привел жилец со второго этажа, водопроводчик. Полицейский постучал в дверь, и там все стихло. Он постучал сильнее, и тут женщина заплакала, и Раймон отворил. Он приторно улыбался, в зубах торчала сигарета. Женщина кинулась к двери и крикнула полицейскому, что Раймон ее избил.

— Фамилия? — спросил полицейский.

Раймон ответил.

— Вынь сигарету изо рта, когда со мной разговариваешь, — сказал полицейский.

Раймон замялся, поглядел на меня и сигарету не вынул. Полицейский размахнулся и влепил

ему звонкую, увесистую оплеуху. Сигарета отлетела на несколько метров. Раймон переменился в лице, но сразу ничего не сказал, а чуть погодя кротко спросил, можно ли подобрать окурок. Полицейский разрешил и прибавил:

— В другой раз будешь знать, как с полицией шутки шутить.

Все это время женщина плакала и повторяла:

— Он меня излупил. Он кот.

Раймон сказал:

— Господин полицейский, разве по закону позволяется обзывать человека котом?

Но тот велел ему заткнуть глотку. Тогда Раймон обернулся к женщине и сказал:

— Ну погоди, деточка, мы еще встретимся.

Полицейский велел ему заткнуться, и пускай женщина уходит, а он пускай сидит дома и ждет, покуда его вызовут в участок. И прибавил — хоть бы Раймон постыдился, вон до чего пьян, весь трясется! Тут Раймон объяснил:

— Я не пьян, господин полицейский. Просто перед вами я поневоле дрожу.

Он затворил дверь, и все разошлись. Мы с Мари опять принялись готовить завтрак. Но ей не хотелось есть, я почти все съел сам. Через час она ушла, а я опять немного поспал.

Часа в три ко мне постучали, и вошел Раймон. Я все еще лежал. Он присел на край кровати. Он сидел и молчал, и я спросил, как было дело. Он рассказал, что сделал все, как задумал, но она дала ему пощечину, и тогда он ее поколотил. Остальное я и сам видел. Я сказал — по-моему, теперь он ее проучил и может быть доволен. Он был того же мнения и сказал: мол, как бы полицейский ни старался, а тумаков он ей надавал, этого уж никто не изменит. И прибавил, что полицейских он изучил и знает, как с ними обращаться. Потом спросил — наверно, я ждал, что он тоже даст полицейскому по морде. Я сказал: ровным счетом ничего не ждал, а вообще не люблю я полицию. Раймон, видно, был очень доволен. Он спросил, не пойду ли я с ним пройтись. Я поднялся и пригладил волосы. Тут он сказал, что хочет взять меня в свидетели. Мне это было все равно, но я не знал, что надо говорить. Раймон объяснил: довольно будет подтвердить, что эта женщина его обманула. Я согласился выступить свидетелем.

Мы вышли из дому, и Раймон предложил выпить по рюмочке коньяку. После этого ему вздумалось сыграть партию в бильярд, и я немножко проиграл. Потом он звал меня в бордель, но я сказал — нет, потому что я этого не люблю. Тогда мы

не спеша повернули обратно. И он все говорил, как он доволен, что проучил свою любовницу. Он был со мной очень мил, и я подумал, мы славно провели время.

Еще издали я увидел на пороге нашего дома старика Саламано, он былчем-то взволнован. Когда мы подошли поближе, оказалось — он без собаки. Он озирался по сторонам, вертелся волчком, вглядывался в темный коридор, бормотал что-то несвязное и вновь принимался воспаленными, красными глазками обшаривать улицу. Раймон спросил, что с ним, но он ответил не сразу. Он все суетился, и я с трудом разобрал, что он ворчит сквозь зубы:

— Сволочь! Подлюга!

Я спросил, где пес.

— Удрал, — отрезал старик и вдруг разразился длинной речью: — Пошел я с ним, как всегда, на площадь. Там ярмарка, у балаганов полно народу. Я остановился поглядеть «Короля-бродягу». Потом собрался идти дальше, хвать, а его и след простыл. Правда, давно надо было купить ему ошейник поуже. Да только не думал я, что эта сволочь вот так возьмет и удерет.

Раймон стал ему толковать, что, может быть, пес просто заблудился и еще вернется. Он при-

водил разные случаи: сколько раз бывало, что собака пробежит десятки километров, а потом вернется к хозяину. Но старик все не мог успокоиться:

— Поймите, его прикончат. Еще если б кто-нибудь взял его себе. Да нет, кто его возьмет, шелудивого, им все брезгают. Его наверняка сцапают живодеры.

Тогда я посоветовал Саламано пойти на живодерню, пускай заплатит штраф — и собаку вернут. Он спросил, большой ли штраф. Я не знал. Тут он вспылил:

— Еще деньги платить за такую падаль! Да чтоб он сдох, подлый пес!

И разразился бранью. Раймон засмеялся и вошел в дом. Я поплелся за ним, и на площадке мы расстались. Через минуту я услыхал шаги старика, и он постучал ко мне. Я открыл, он потоптался на пороге и сказал:

— Извините… прошу прощенья…

Я пригласил его войти, но он не вошел. Он потупился, его покрытые коростой руки тряслись. Не поднимая глаз, он спросил:

— Скажите, господин Мерсо, у меня его не отнимут? Мне его отдадут? А то что же со мной будет!

Я сказал, на живодерне собаку держат три дня,

чтобы хозяин, если пожелает, мог ее забрать, а уж потом распоряжаются ею по своему усмотрению. Он долго молча глядел на меня. Потом сказал:

— Спокойной ночи.

И ушел к себе, я слышал, как он ходил по комнате взад и вперед. Потом заскрипела кровать. Через перегородку донеслись странные глухие звуки, и я понял, что старик плачет. Сам не знаю почему, я подумал о маме. Но назавтра надо было рано вставать. Есть не хотелось, и я лег спать без ужина.

V

Раймон позвонил мне в контору. Он сказал, что один его приятель, которому он про меня рассказывал, приглашает меня на воскресенье за город, у него там домишко, вернее, лачуга. Я сказал, что охотно бы поехал, да обещал провести воскресенье с подружкой. Раймон тотчас объявил: пускай и подружка едет. Жена приятеля только обрадуется, что будет не одна в мужской компании.

Я хотел сразу повесить трубку, патрон не любил, когда нам звонят на службу. Но Раймон сказал — одну минуту, приглашение он мог бы передать и вечером, но хочет меня еще кое о чем попросить. За ним весь день ходят по пятам несколько арабов, в том числе брат его бывшей любовницы.

— Если увидишь его вечером возле дома, когда вернешься, предупреди меня.

Я сказал — непременно.

Немного погодя меня позвали к патрону, и мне стало досадно, я подумал, сейчас он скажет, что надо поменьше разговаривать по телефону и побольше работать. Но оказалось, ничего подобного. Он объявил, что у него есть один план,

пока еще неопределенный. И ему любопытно услышать мое мнение. Он намерен открыть в Париже отделение конторы, которое занималось бы делами прямо на месте, вело бы там переговоры с крупными парижскими фирмами, — так вот, не хочу ли я за это взяться? Можно жить в Париже и при этом довольно много разъезжать.

— Вы молоды, и, мне кажется, такая работа должна прийтись вам но вкусу.

Я сказал — пожалуй, хотя, в сущности, мне все равно. Тогда он спросил, неужели мне не интересно переменить образ жизни. Я сказал, в жизни ничего не переменишь, все одно и то же, а мне и так хорошо. У него стало недовольное лицо, и он сказал, вечно я отвечаю не по существу, нет у меня никакого честолюбия, а это очень плохо для дела. Тогда я опять пошел работать. Неприятно, что он недоволен, но с какой стати я буду менять свою жизнь? Если вдуматься, разве я несчастен? В студенческие годы были у меня всякие честолюбивые мечты. Но когда пришлось бросить ученье, я очень быстро понял, что все это, в сущности, не важно.

Вечером пришла Мари и спросила, хочу ли я, чтобы мы поженились. Я сказал, мне все равно, можно и пожениться, если ей хочется. Тогда она

захотела знать, люблю ли я ее. Я ответил, как и в прошлый раз, что это не имеет значения, но, конечно, я ее не люблю.

— Зачем же тогда на мне жениться? — спросила она.

Я объяснил, что это совершенно не важно, — отчего бы и не пожениться, раз ей хочется. Ведь она сама об этом просит, а я только соглашаюсь. Тогда она сказала, что брак — дело серьезное. Я сказал:

— Нет.

Она осеклась и с минуту молча смотрела на меня. Потом опять заговорила. Интересно знать, согласился бы я, если бы мне то же самое предложила другая женщина, с которой я был бы связан такими же отношениями? Я сказал:

— Разумеется.

Мари сказала, что и сама не понимает, любит ли она меня, но этого я уж вовсе не знал. Она опять помолчала, потом пробормотала, что я какой-то чудной, — конечно, за это она меня и любит, но, может быть, когда-нибудь именно из-за этого я стану ей противен. Мне нечего было прибавить, и я молчал; тогда она с улыбкой взяла меня под руку и объявила, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, когда ей угодно, тогда и поженимся, я не против. Потом рассказал ей о предложении

патрона, и Мари сказала, что была бы очень рада повидать Париж. Я сказал, что когда-то жил там, и она спросила, какой он, Париж. Я сказал:

— Там грязно. Всюду голуби и закопченные дворы. А кожа у людей белая.

Потом мы вышли из дому и по широким улицам прошли через весь город. Нам встречались красивые женщины, и я спросил Мари, замечает ли она это. Она сказала, что да и что она меня понимает. Некоторое время мы больше не разговаривали. Но я хотел, чтобы она осталась со мной, и сказал: можно пообедать вдвоем у Селеста. Мари ответила, что и рада бы, но она сегодня занята. Мы были уже недалеко от моего дома, и я сказал — до свиданья. Она посмотрела на меня:

— Тебе не любопытно, чем я занята?

Да, было любопытно, но я не догадался сразу спросить, и она, видно, ставила мне это в укор. Наверно, лицо у меня стало смущенное, и она засмеялась, потянулась ко мне всем телом и подставила губы.

Я пообедал у Селеста. Уже принялся за еду, и вдруг вошла какая-то чудачка и спросила, можно ли сесть за мой столик. Можно, разумеется. Она была престранная: маленькая, движения порывистые, лицо как яблочко, глаза блестят.

Она сбросила жакет, села и принялась лихорадочно просматривать меню. Подозвала Селеста и тотчас торопливо, но решительно заказала обед. Дожидаясь закуски, открыла сумку, достала листок бумаги и карандаш, заранее все подсчитала, вытащила из кошелька сколько надо, прибавила на чай и положила деньги у прибора. Тут ей подали закуску, и она мигом все уплела. Дожидаясь следующего блюда, опять открыла сумку, вынула синий карандаш и журнал, где печатают программу радиопередач на неделю. И принялась старательно отмечать птичками чуть не все передачи подряд. Программа была разбросана на десятке страниц, так что работы ей хватило на весь обед. Я уже поел, а она все еще усердно ставила птички. Потом поднялась, теми же отчетливыми движениями, как автомат, надела жакет и вышла. Я тоже вышел и от нечего делать двинулся следом. Она устремилась по самому краю тротуара, до неправдоподобия быстро и уверенно, строго по прямой, не отклоняясь и не оглядываясь. В конце концов я потерял ее из виду и повернул назад. Вот чудная, подумал я, но быстро о ней забыл.

Возле моей двери торчал Саламано. Я повел его к себе, и он пожаловался, что пес пропал — на

живодерне его не оказалось. Тамошние служащие сказали: возможно, он попал под колеса. Саламано спросил, нельзя ли это узнать точно через полицию. Ему ответили, что таких случаев каждый день хоть пруд пруди и никто их не учитывает. Я сказал — можно завести новую собаку, но старик справедливо заметил, что к своему псу он привык.

Я сидел с ногами на кровати, а Саламано напротив меня, у стола. Руки он уронил на колени. Старой фетровой шляпы не снял. Он вяло жевал обрывки фраз, пожелтевшие усы шевелились. Он мне немного надоел, но делать все равно было нечего и спать не хотелось. Говорить тоже было не о чем, и я стал спрашивать про пса. Старик рассказал, что завел собаку после смерти жены. Женился он поздно. В молодости хотел стать актером, еще в полку играл в солдатских самодельных пьесках. А кончилось тем, что пошел служить на железную дорогу, и не жалеет об этом — ведь ему платят небольшую пенсию. С женой он счастлив не был, но в общем-то сильно к ней привык. Когда она умерла, ему стало очень одиноко. Тогда он выпросил у одного товарища по мастерской собаку. Это был совсем крохотный щенок, пришлось его выкармливать из рожка.

Но собачий век короче человеческого, и они состарились вместе.

— У него был скверный характер, — сказал Саламано. — Бывали у нас и нелады. А все-таки он был хороший пес.

Я сказал — да, пес породистый, и старику, видно, это польстило.

— Вы его не знали в ту пору, когда он еще не захворал, — прибавил он. — Шерсть у него была уж так хороша, любо поглядеть.

С тех пор как на пса напала хворь, Саламано каждое утро и каждый вечер натирал его мазью. Но, в сущности, пес был не болен, а просто-напросто стар, так ведь от старости не вылечишь.

Тут я зевнул, и Саламано сказал, что ему пора. Я сказал — пускай еще посидит, досадно, что с его псом приключилась беда; старик поблагодарил. Он сказал, что его пса очень любила моя мама. «Ваша бедная матушка», — сказал он. И затем изрек: уж наверно, смерть мамы для меня страшное несчастье, но я ничего не ответил. Тогда он как будто смутился и скороговоркой прибавил: мол, в нашем квартале меня осуждают за то, что я отдал маму в богадельню, но он-то меня знает и не сомневается, что я маму очень любил. Я ответил, сам не понимаю зачем, мол, первый

раз слышу, что меня за это осуждают, мне казалось совершенно естественным устроить маму в дом призрения, ведь у меня не хватало денег на сиделку.

— И потом, — прибавил я, — ей уже давно не о чем было со мной говорить, а одна она скучала.

— Да, — согласился Саламано, — в богадельне можно по крайней мере завести друзей.

Потом он стал прощаться. Пора спать. Жизнь его переменилась, и он еще не понимает, как быть дальше.

Впервые за все годы, что я его знал, он робко протянул мне руку, и я почувствовал, какая она у него шершавая. Уходя, он слабо улыбнулся и сказал:

— Хоть бы собаки ночью не лаяли. Мне все мерещится, что это лает мой пес.

VI

В воскресенье я насилу проснулся. Мари пришлось звать меня и трясти. Завтракать мы не стали, потому что хотели искупаться пораньше. У меня сосало под ложечкой и немного болела голова. Сигарета показалась горькой. Мари посмеивалась и уверяла, что у меня похоронная физиономия. Она надела белое полотняное платье, распустила волосы. Я сказал, что она красивая, и она засмеялась от удовольствия.

Выходя, мы постучали в дверь к Раймону. Он крикнул, что сейчас идет. Оттого, что я не выспался, да еще в комнате мы не поднимали шторы, яркий солнечный свет ошеломил меня, как пощечина. Мари прыгала от радости и все повторяла, какой чудесный день. Я немного оправился и вдруг сообразил, что голоден. Сказал об этом Мари, а она показала мне свою клеенчатую сумку — там лежали только наши купальные костюмы и полотенце. Оставалось одно — ждать; наконец мы услышали, что Раймон запирает свою комнату. Он вышел в синих штанах, в белой рубашке с короткими рукавами. А на голове у него была соломенная шляпа-канотье, и Мари

даже засмеялась; руки у него до локтя оказались очень белые, густо заросшие черными волосами. Мне стало немного противно. Спускаясь по лестнице, Раймон насвистывал, вид у него был очень довольный. Он сказал мне:

— Привет, старина!

А Мари назвал «мадемуазель».

Накануне мы с ним ходили в полицию, и я засвидетельствовал, что та особа «обманула» Раймона. Ему сделали предупреждение и отпустили. Мои слова никто не проверял. Сейчас, выйдя на улицу, мы с Раймоном еще об этом поговорили, потом решили сесть в автобус. До пляжа не очень далеко, но так будет быстрее. Раймон сказал — его приятель будет доволен, если мы явимся пораньше. Мы уже хотели идти на остановку, как вдруг Раймон сделал мне знак, чтобы я поглядел через дорогу. Там, прислонясь к витрине табачной лавки, стояли несколько арабов. Они молча смотрели на нас, но так равнодушно, будто мы были камни или высохшие деревья. Раймон мне сказал, что второй слева и есть тот самый, и лицо у него стало озабоченное. Впрочем, прибавил он, это уже дело прошлое. Мари не поняла и спросила, о чем речь. Я объяснил, что эти арабы злы на Раймона. Она сказала — так пойдем скорей отсюда. Раймон

гордо выпрямился, но тут же засмеялся и сказал, что нам и правда надо спешить.

Мы двинулись к остановке автобуса — это недалеко, и Раймон объявил мне, что арабы за нами не пошли. Я обернулся. Они даже не пошевелились и все так же равнодушно смотрели на то место, где мы только что стояли. Мы сели в автобус. У Раймона, видно, стало легче на душе, и он все время подшучивал над Мари. Я понял, что она ему нравится, но на шуточки она почти не отвечала. Только изредка поглядывала на него и смеялась.

Выехали за город. От остановки автобуса до пляжа совсем близко. Надо только пересечь ровное, открытое место на высоком берегу, а дальше отлогий спуск ведет к пляжу. Под ногами валялись желтоватые камни и ярко белели на фоне неба, уже налившегося густой синевой, асфодели. Мари забавлялась — размахивала клеенчатой сумкой, сбивая лепестки асфоделей. Мы шли между рядами загородных дач, обнесенных белыми и зелеными заборами, одни домики вместе с верандами прятались в кустах тамариска, другие стояли совсем голые среди камней. Еще не дойдя до края плоскогорья, мы увидели неподвижное море. Поодаль прозрачную воду

разрезал тяжелый сонный мыс. В ясном воздухе слышался слабый стук мотора. Далеко-далеко мы увидели рыбачье суденышко, оно неприметно скользило по сверкающему морю. Мари нашла между камнями несколько ирисов. С пологого склона видно было, что на берегу уже кое-где есть купальщики.

Приятель Раймона жил в деревянном домишке на самом краю пляжа. Домишко прислонился к скале, спереди его подпирали сваи, вокруг плескалась вода. Раймон нас познакомил. Приятеля звали Масон. Он был рослый, плотный, плечистый, а жена его — маленькая, кругленькая, приветливая, по выговору — парижанка. Он сразу сказал, чтоб мы располагались как дома, сейчас он нас угостит жареной рыбой, он сам наловил ее нынче утром. Я сказал — домик у него очень красивый. Он ответил, что проводит здесь каждую субботу и воскресенье и весь отпуск.

— Вместе с женой, понятно, — прибавил он.

Его жена и Мари говорили о чем-то и смеялись. Кажется, впервые я всерьез подумал: пожалуй, и правда надо жениться.

Масон хотел купаться, но его жене и Раймону идти не хотелось. Мы пошли втроем, и Мари сразу бросилась в воду. Мы с Масоном немного поси-

дели на песке. Речь у него была медлительная, и за ним водилась привычка поминутно приговаривать «более того», даже когда он уже ничего не прибавлял к сказанному. Про Мари он сказал:

— Она изумительна, более того — прелестна.

Потом я уже не обращал внимания на эту нелепую присказку, а лежал и наслаждался — было очень приятно греться на солнце. Песок под ногами стал горячий. Я еще помедлил, хотя меня уже тянуло в воду, и наконец сказал Масону:

— Пошли?

И бросился в воду. А он вошел осторожно и поплыл, только когда ноги перестали доставать дно. Плыл он брассом, довольно плохо, так что я его оставил и пустился догонять Мари. Вода была холодная, а плыть приятно. Мы с Мари заплыли далеко, славно было плыть так дружно, в лад, и чувствовать, что нам обоим хорошо.

Отплыв подальше, мы перевернулись на спину, я смотрел в небо, и под солнцем вмиг высохли на лице и на губах соленые брызги. Нам было видно, как Масон вышел из воды и растянулся на припеке. Издали он казался великаном. Мари захотелось поплавать вместе со мной. Я пристроился позади, взял ее за талию, и она поплыла, работая руками, а я помогал, отталкиваясь но-

гами. В тишине утра негромко плескала вокруг вода. А потом я устал, оторвался от Мари и поплыл к берегу, равномерно взмахивая руками и глубоко дыша. Вылез из воды и растянулся на животе рядом с Масоном, лицом в песок. Хорошо, сказал я ему, и он согласился. Немного погодя приплыла Мари. Я повернулся и смотрел, как она выходит на берег. От соленой воды она была вся точно лакированная, волосы откинуты назад. Она вытянулась на песке рядом со мной, от ее жаркого тела и от жаркого солнца я задремал.

Мари потрясла меня за плечо и сказала, что Масон пошел к себе и уже пора завтракать. Я сейчас же поднялся, потому что хотелось есть, но Мари сказала — я с утра еще ни разу ее не поцеловал. И правда, ни разу, а поцеловать хотелось.

— Пойдем окунемся, — сказала она.

Мы вбежали в воду и закачались на прибрежных волнах. Проплыли немного, и Мари прильнула ко мне. Обхватила мои ноги своими, и я ее захотел.

Когда мы подходили к дому, Масон с порога уже звал нас. Я сказал — до чего хочется есть, и он сейчас же заявил своей жене, что я ему нравлюсь. Хлеб был вкусный, я вмиг уплел свою порцию рыбы. Потом было мясо с жареной картошкой.

Ели молча. Масон прихлебывал вино и то и дело подливал мне. К тому времени, как подали кофе, голова у меня стала тяжелая, и я начал курить одну сигарету за другой. Мы с Масоном и Раймоном надумали в августе пожить все вместе в складчину здесь, на пляже. И вдруг Мари сказала:

— А знаете, который час? Только половина двенадцатого.

Мы все удивились, но Масон сказал — ну и пускай, поели рано, ничего страшного тут нет: когда проголодаешься, тогда самое время поесть. Не знаю почему, но Мари это очень насмешило. Наверно, она выпила лишнее. Масон спросил — может, я хочу прогуляться с ним по пляжу?

— Жена после еды всегда отдыхает. А я этого не люблю. Мне надо пройтись. Я ей всегда говорю, это куда полезнее для здоровья. Но в конце концов ее воля, пускай делает как знает.

Мари объявила, что останется и поможет госпоже Масон перемыть посуду. Маленькая парижанка сказала — для этого надо выставить мужчин за дверь. И мы трое вышли.

Солнечные лучи падали на песок почти отвесно, и море под ними блестело нестерпимо. На пляже не было ни души. Из домишек, которые лепились на краю высокого берега, нависая над

морем, слышался звон посуды, стук ножей и вилок. От раскаленных камней под ногами несло жаром так, что дух захватывало. Раймон с Масоном заговорили о делах и людях, мне незнакомых. Я понял, что они знают друг друга очень давно и даже когда-то жили под одной крышей. Мы шли по кромке песка, вдоль самой воды. Иногда волна побойчее с разбегу обдавала наши парусиновые туфли. Я ни о чем не думал, солнце жгло непокрытую голову, и от этого меня клонило ко сну.

Вдруг Раймон сказал Масону что-то, чего я не расслышал. Но в ту же минуту я увидел далеко впереди, в самом конце пляжа, двух арабов в синем — они шли нам навстречу. Я поглядел на Раймона, и Раймон сказал:

— Это он самый.

Мы шли не останавливаясь. Масон спросил, как же они догадались приехать сюда. Я подумал: должно быть, видели, что мы с пляжной сумкой садились в автобус, — но промолчал.

Арабы не спеша подходили все ближе. Мы не замедляли шаги, но Раймон сказал:

— Если начнется потасовка, ты, Масон, займись вторым. О своем субчике я сам позабочусь. А если явится третий, это уж для тебя, Мерсо.

— Ладно, — сказал я.

Масон заложил руки в карманы. Раскаленный песок мне теперь казался багровым. Размеренно, не торопясь мы шли навстречу арабам. Расстояние сокращалось. Когда нас разделяло уже всего несколько шагов, арабы остановились. Мы с Масоном замедлили шаги. Раймон пошел прямиком к своему врагу. Я не расслышал, что он ему сказал, но тот пригнулся, будто хотел на него броситься. Тогда Раймон нанес первый удар и тотчас позвал Масона. Масон подошел ко второму арабу и дважды ударил его изо всей силы. Тот плашмя свалился в воду, лицом вниз, и несколько секунд лежал так, а вокруг его головы на воде лопались пузыри. Тем временем Раймон опять ударил противника и разбил ему лицо в кровь. Обернулся ко мне и сказал:

— Сейчас я его изукрашу!

Я крикнул:

— Берегись! Нож!

Но араб уже полоснул его по руке повыше локтя и по губам.

Масон прыгнул вперед. Но второй араб поднялся и стал позади того, с ножом. Мы не смели шевельнуться. Они медленно отступали, не сводя с нас глаз и грозя ножом. А отойдя подальше, пустились бежать, мы же остались под солнцем,

будто в землю вросли; Раймон зажимал рану на руке, из нее сочилась кровь.

Масон вспомнил, что тут есть врач. Он по воскресеньям всегда приезжает на дачу. Раймон хотел сейчас же пойти к нему. Но при каждом слове у него на разрезанных губах пузырилась кровь. Мы взяли его под руки и поскорей отвели в домик Масона. Там Раймон заявил, что у него не раны, а царапины, он может и сам пойти к врачу. Они с Масоном ушли, а я стал объяснять женщинам, что случилось. Госпожа Масон плакала, Мари сильно побледнела. Под конец мне надоело с ними толковать. Я замолчал и стал курить, глядя на море.

К половине второго Раймон с Масоном вернулись. Рука у Раймона была на перевязи, угол рта залеплен пластырем. Врач сказал, что это все пустяки, но Раймон был мрачнее тучи. Масон пытался его рассмешить. Но он отмалчивался. Потом заявил, что опять пойдет на пляж, и я спросил — куда. Он ответил — просто подышать воздухом. Мы с Масоном сказали, что тоже пойдем. Он вдруг разозлился и обругал нас. Масон сказал — не надо ему перечить. Но я все-таки пошел за Раймоном.

Мы долго шли по пляжу. Солнце жгло невыно-

симо. Оно дробилось на песке и на воде в колкие осколки. Мне казалось, Раймон знает, куда идет, но, наверно, я ошибался. В самом конце пляжа мы набрели на родничок, он выбегал из-за большой скалы и струился по песку к морю. Здесь мы увидели тех двух арабов. Они лежали на песке в своих засаленных синих одеждах. С виду они были смирные, даже кроткие. И к нашему появлению отнеслись очень спокойно. Тот, который ударил Раймона ножом, теперь молча смотрел на него. Второй насвистывал на тростниковой дудке, он искоса на нас поглядывал и повторял опять и опять одни и те же три ноты.

Было только солнце и тишина, вполголоса журчал ручей, да выводила одно и то же тростниковая дудка.

Потом Раймон сунул руку в карман за револьвером, но его противник не пошевелился, они в упор смотрели друг на друга. Я заметил, что у того, который играл на дудке, большие пальцы на ногах далеко отставлены от остальных. Но тут Раймон, все не сводя глаз с врага, спросил меня:

— Прикончить его?

Я подумал — если сказать «нет», он взовьется и наверняка выстрелит. И я проговорил только:

— Он еще ни слова не сказал. Было бы свин-

ством стрелять ни с того ни с сего.

Опять стоим в жаре, в тишине, слушаем журчанье родника и дудки. Потом Раймон говорит:

— Тогда я его обругаю, а как ответит — прикончу.

— Ну что ж, — отвечаю. — Только если он не вытащит нож — стрелять не годится.

Раймон понемногу взвинчивался. Второй араб все играл, и оба они следили за каждым движением Раймона.

— Вот что, — сказал я. — Сойдись с ним один на один, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается или если этот вытащит нож, я его пристрелю.

Раймон отдал мне револьвер, металл блеснул на солнце. Но мы по-прежнему не шевелились, будто весь мир оцепенел и сковал нас. Мы только глядели в упор на арабов, арабы — на нас, а море, солнце и песок, еле слышная дудка и родник будто замерли. И я подумал — можно стрелять, а можно и не стрелять, какая разница. Но вдруг арабы попятились и скользнули за скалу. Тогда мы с Раймоном повернули назад. Его как будто отпустило, и он сказал — пора к автобусу и домой.

Я проводил его до лачуги Масона, и он стал взбираться по деревянной лестнице, а я остано-

вился внизу: в голове гудело от жары и не хватало пороху одолеть два десятка ступеней да еще разговаривать с женщинами. Но солнце пекло немилосердно, с неба хлестал дождь слепящего света, и оставаться под ним было тоже невмоготу. Остаться тут или идти — в конце концов было все едино. Я постоял минуту, повернулся и зашагал обратно на пляж.

Все так же слепил багровый песок. Море, тяжко дыша и захлебываясь, выплескивало на него мелкие волнишки. Я медленно шел к скалам и чувствовал, как от солнца пухнет голова. Жара давила, стеной вставала поперек дороги, обдавала лицо палящим дыханием. И я опять и опять стискивал зубы, сжимал кулаки в карманах штанов, весь напрягался, силясь побороть солнце и мутное опьянение, которое обволакивало меня и валило с ног. Всякая песчинка, побелевшая от солнца раковина, осколок стекла метали в меня копья света, и я судорожно стискивал зубы. Я шел долго.

Вдалеке завиднелась темная глыба скалы в ослепительном ореоле света и летящей морской пены. Я вспомнил, что за скалой течет прохладный родник. Захотелось опять услышать его журчанье, укрыться от солнца, не напрягать

мышц, не видеть женских слез, захотелось, наконец, тени и покоя. Но когда я подошел ближе, оказалось — тот араб, враг Раймона, вернулся.

Он был один. Он лежал на спине, заложив руки под голову, лицо было в тени скалы, а все тело на солнце. В жарких лучах от синего балахона шел пар. Я немного удивился. Я-то думал, с этим делом покончено, и совсем про него позабыл, когда шел сюда.

Завидев меня, араб приподнялся и сунул руку в карман. Понятно, я нащупал в кармане куртки револьвер Раймона. Тогда араб опять откинулся на спину, но руку из кармана не вынул. Я был от него довольно далеко, метров за десять. Порой между полусомкнутыми веками я угадывал его взгляд. Но чаще его черты расплывались передо мной в дрожащем знойном воздухе. Волны плескали еще реже, еще ленивее, чем в полдень. Все то же солнце, тот же сверкающий, слепящий песок, и нет им конца. Вот уже два часа, как день оцепенел, два часа, как он бросил якорь в океане расплавленного металла и не двигается с места. На горизонте шел пароход, я едва заметил краем глаза темную точку, потому что неотрывно смотрел на араба.

Я подумал: стоит только повернуться и пойти

прочь — и все кончится. Но весь раскаленный знойный берег словно подталкивал меня вперед. Я ступил к роднику — шаг, другой. Араб не шелохнулся. Все-таки до него было еще довольно далеко. Может быть, оттого, что на лицо его падала тень, казалось — он усмехается. Я помедлил. Солнце жгло мне щеки, на брови каплями стекал пот. Вот так же солнце жгло, когда я хоронил маму, и, как в тот день, мучительней всего ломило лоб и стучало в висках.

Я не мог больше выдержать и подался вперед. Я знал: это глупо, я не избавлюсь от солнца, если сдвинусь на один только шаг. И все-таки я сделал его — один-единственный шаг вперед. Тогда, не поднимаясь, араб вытащил нож и показал мне, выставив на солнце. Оно высекло из стали острый луч, будто длинный искрящийся клинок впился мне в лоб. В тот же миг пот, скопившийся у меня в бровях, потек по векам и затянул их влажным полотнищем. Я ничего не различал за плотной пеленой соли и слез. И ничего больше не чувствовал, только в лоб, как в бубен, било солнце да огненный меч, возникший из стального лезвия, маячил передо мной. Этот жгучий клинок рассекал мне ресницы, вонзался в измученные, воспаленные глаза. И тогда все закачалось. Море

испустило жаркий, тяжелый вздох. Мне почудилось — небо разверзлось во всю ширь, и хлынул огненный дождь. Все во мне напряглось, пальцы стиснули револьвер. Рукоятка была гладкая, отполированная, спусковой крючок поддался — и тут-то, сухим, но оглушительным треском, все и началось. Я стряхнул с себя пот и солнце. Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где мне совсем недавно было так хорошо. Тогда я еще четыре раза выстрелил в распростертое тело, пули уходили в него, не оставляя следа. И эти четыре отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды.

Часть вторая

I

Сразу же после ареста меня несколько раз допрашивали. Но допросы были недолгие — просто выясняли, кто я такой. В первый раз, в полицейском участке, моим делом, кажется, ровно никто не заинтересовался. Неделю спустя, напротив, судебный следователь смотрел на меня с любопытством. Но для начала он только спросил мое имя и адрес, род занятий, время и место рождения. Потом пожелал узнать, выбрал ли я себе адвоката. Я сказал — нет, а разве это так уж необходимо?

— То есть как? — удивился он.

Я сказал — по-моему, дело мое очень простое.

Он улыбнулся и сказал:

— Можно считать и так. Однако существует закон. Если вы не выберете себе защитника сами, мы вам кого-нибудь назначим.

Я подумал: очень удобно, что правосудие само заботится обо всех мелочах. Так я и сказал следователю. Он согласился и заметил, что законы составлены весьма разумно.

Сначала я не принял его всерьез. Он ждал меня в кабинете с завешенными окнами, горела одна

только лампа на письменном столе и освещала кресло, в которое он меня усадил, а сам остался в тени. Я уже читал про такие приемы в книгах, и все это показалось мне игрой. Но когда мы поговорили, я посмотрел на него внимательно — он был высокий, тонкие черты лица, глубоко посаженные голубые глаза, длинные седеющие усы и грива почти совсем белых волос. Он показался мне человеком очень разумным и, в общем, приятным, хотя рот у него как-то нервно подергивался. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, да вовремя вспомнил, что ведь я убил человека.

На другой день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Он был маленький, кругленький, еще молодой, волосы тщательно прилизаны. Несмотря на жару (я сидел без куртки), на нем был темный костюм, крахмальный воротничок и какой-то необыкновенный галстук в широкую белую и черную полоску. Он водрузил на мою койку портфель, представился и объявил, что внимательно изучил дело. Случай щекотливый, но он не сомневается в успехе, если только я вполне ему доверюсь. Я поблагодарил, и он сказал:

— Перейдем прямо к сути.

Он сел на койку и сообщил, что уже наведены справки о моей личной жизни. Стало ясно, что

моя мать недавно умерла в доме призрения. Тогда послали запрос в Маренго. Там следователь сообщил, что в день похорон мамы я «проявил бесчувственность».

— Понимаете, — сказал мой защитник, — мне неловко вас об этом расспрашивать. Но это крайне важно. И обвинение с успехом использует этот довод, если я ничего не сумею возразить.

Он хотел, чтобы я ему помог. Он спросил, горевал ли я в тот день. Я очень удивился, мне кажется, сам я постеснялся бы задать кому-нибудь такой вопрос. Все же я ответил, что несколько отвык разбираться в своих чувствах и затрудняюсь ему что-либо объяснить. Конечно, я любил маму, но какое это имеет значение? Всякий разумный человек так или иначе когда-нибудь желал смерти тем, кого любит. Тут адвокат меня перебил и, кажется, очень разволновался. Он взял с меня слово не говорить так ни на суде, ни у следователя. Все же я ему объяснил, что такой уж я от природы — когда мне физически не по себе, все мои чувства и мысли путаются. В тот день, когда хоронили маму, я очень устал и не выспался. И поэтому плохо соображал, что происходит. Одно могу сказать наверняка: я бы предпочел, чтобы мама была жива. Но защитник, видно, остался

недоволен. Он сказал:

— Этого недостаточно.

Он задумался. Потом спросил, может ли он сказать на суде, что в тот день я взял себя в руки и сдержал естественную скорбь. Я сказал:

— Нет, ведь это неправда.

Он странно на меня посмотрел, как будто я был ему немного противен. И сказал почти злобно, что, во всяком случае, директор и служащие дома призрения будут вызваны в качестве свидетелей, «и тогда дело может принять для вас прескверный оборот». Я сказал — это здесь ни при чем, ведь меня судят совсем за другое, но он ответил только — сразу видно, что я никогда не сталкивался с правосудием.

Ушел он сердитый. Мне хотелось его удержать, объяснить, что я был бы рад, если бы он отнесся ко мне по-хорошему — и не потому, что тогда бы он больше старался, защищая меня, а просто так. Главное, я видел: из-за меня ему неспокойно. Он меня не понимал и поэтому немного злился. Мне хотелось растолковать ему, что я такой же, как все люди, в точности такой же. Но все это, в сущности, бесполезно, мне стало лень, и я махнул рукой.

Попозже меня опять отвели к следователю. Бы-

ло два часа дня, и на этот раз кабинет был залит светом, легкая занавеска его почти не смягчала. Было очень жарко. Следователь предложил мне сесть и весьма любезно сообщил, что мой адвокат не смог прийти — «помешали обстоятельства». Но я имею право не отвечать на вопросы и ждать адвоката. Я сказал, что и один могу отвечать. Он нажал кнопку звонка на столе. Вошел молодой секретарь и сел очень близко позади меня.

Мы со следователем поудобнее устроились в креслах. Начался допрос. Сперва он сказал, что, по общему мнению, я человек молчаливый и замкнутый — а сам я как полагаю? Я ответил:

— Просто мне нечего сказать. Вот я и молчу.

Он, кажется, впервые улыбнулся, согласился, что более веской причины не найдешь, и прибавил:

— Впрочем, это не важно. — Замолчал, посмотрел на меня, вдруг выпрямился и сказал быстро: — Меня интересуете вы сами.

Я не очень понял, о чем это он, и не ответил.

— Есть в вашем поступке что-то для меня неясное, — продолжал он. — Я уверен, вы поможете мне в этом разобраться.

Я сказал — все очень просто. Он попросил, чтобы я еще раз подробно описал ему тот день.

Я перебрал заново все то, о чем уже рассказывал ему: Раймон, пляж, купанье, стычка с арабами, опять пляж, родник, солнце и пять выстрелов из револьвера. Он снова и снова приговаривал:

— Так, так.

И когда я дошел до неподвижного тела на песке, он опять одобрил:

— Хорошо.

Мне уже надоело повторять одно и то же, кажется, никогда в жизни я так много не говорил.

Мы помолчали, потом он поднялся и сказал, что хочет мне помочь, что я его заинтересовал и с Божьей помощью он постарается что-нибудь для меня сделать. Но сначала хочет задать мне еще несколько вопросов. И без перехода спросил, любил ли я маму. Я сказал:

— Да, как все люди.

Секретарь, который до сих пор без остановки стучал на машинке, тут, наверно, сбился и ударил не по той клавише: он вдруг замешкался, и ему пришлось вернуться назад. Так же некстати, без видимой связи следователь спросил, стрелял ли я пять раз подряд, без перерыва. Я подумал и вспомнил, что сперва выстрелил один раз, а чуть погодя еще четыре.

— Почему вы ждали после первого выстрела? —

спросил он.

Я снова увидел багровый пляж и почувствовал, как солнце жжет лоб. Но на этот раз ничего не ответил. Наступило долгое молчание, следователь как будто заволновался. Он опять сел, взъерошил волосы, облокотился на стол и с каким-то странным видом наклонился ко мне.

— Почему, почему вы стреляли в убитого?

Я опять не знал, что ответить. Следователь провел ладонями по лбу и повторил изменившимся голосом:

— Почему? Скажите мне, это необходимо: почему?

Я все молчал.

Он резко поднялся, большими шагами прошел через весь кабинет к картотеке и открыл ящик. Вытащил оттуда серебряное распятие и, размахивая им, вернулся ко мне. И совсем другим тоном, чуть ли не с дрожью в голосе, воскликнул:

— Да знаете ли вы его?

Я сказал:

— Да, конечно.

Тогда он быстро, с жаром заговорил: он верит в Бога, он убежден, что нет на свете человека столь виновного, чтобы Господь Бог его не простил, но для этого виновный должен раскаяться

и стать душою как дитя — открыт и доверчив. Следователь перегнулся над столом. Он махал распятием чуть не над самой моей головой. Сказать по правде, я плохо улавливал нить его мыслей, потому что было очень жарко, да еще по кабинету летали огромные мухи и садились мне на лицо, а кроме того, он меня немного пугал. И однако я понимал, что бояться смешно, ведь, в конце концов, преступник-то я. А он все говорил и говорил. Насколько я понял, в моем признании ему неясно одно — то обстоятельство, что после первого выстрела я выждал и дальше стрелял не сразу. Все остальное его не смущает, а вот этого он понять не может.

Я хотел сказать, что напрасно он упорствует: сразу ли стрелял, не сразу ли — невелика важность. Но он меня перебил и, выпрямившись во весь рост, в последний раз потребовал ответа: верю ли я в Бога. Я сказал — не верю. Он рассердился и сел. И сказал, что этого не может быть, все люди верят в Бога, даже те, кто от него отворачивается. Таково его глубочайшее убеждение, и, если он вынужден будет в этом усомниться, вся его жизнь потеряет смысл.

— Неужели вы хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл? — воскликнул он.

Я рассудил, что меня это не касается, и так ему и сказал. Но он через стол сунул распятие мне чуть не под нос и закричал как одержимый:

— Я христианин! Я молю его отпустить тебе твои грехи! Как ты можешь не верить, что он страдал за тебя?

Конечно, я заметил, что он уже говорит мне, как близкому, «ты», но с меня было довольно. Жара становилась нестерпимой. Как всегда, когда я хочу избавиться от кого-нибудь, кого слушаю через силу, я сделал вид, что со всем согласен. К моему удивлению, следователь возликовал.

— Вот видишь, видишь! — с торжеством заявил он. — Ведь правда, ты веруешь в него и доверишься ему?

Разумеется, я еще раз сказал — нет. Он тяжело опустился в кресло. Лицо у него сделалось очень усталое. Он немного помолчал, а пишущая машинка, которая не переставала трещать во все время нашего разговора, еще достукивала последние слова. Потом следователь посмотрел на меня внимательно и даже печально. И пробормотал:

— Никогда еще я не видел души столь очерствелой, как ваша. Все преступники, сколько их ни проходило через мои руки, плакали перед этим скорбным ликом.

Я хотел ответить — потому и плакали, что они преступники. Но тотчас подумал, что ведь и я такой же. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. Тут следователь встал, словно в знак того, что допрос окончен. Он только спросил еще, с тем же усталым видом, сожалею ли я о своем поступке. Я подумал и сказал — не то чтобы жалею, но мне неприятно. Кажется, он не понял. Но в тот день на этом все и кончилось.

Потом я еще часто бывал у этого следователя. Но каждый раз со мною приходил мой защитник. И от меня требовалось только уточнять разные подробности прежних показаний. Или же следователь обсуждал с адвокатом пункты обвинения. Но в эти минуты сам я нисколько их обоих не занимал. Во всяком случае, тон допросов понемногу изменился. По-видимому, для следователя мое дело прояснилось, и он потерял ко мне интерес. Он больше не заговаривал со мной о Боге, и я уже никогда не видал его в таком волнении, как при первой встрече. И поэтому наши разговоры стали более непринужденными. Несколько вопросов, короткая беседа с адвокатом — вот и все. Дело мое, как выражался следователь, двигалось своим чередом. Иногда, если разговор заходил на какую-нибудь общую тему, меня тоже в него

втягивали. И я начинал дышать свободнее. В эти часы никто на меня не злился. Все разыгрывалось как по нотам, естественно, размеренно, спокойно, и у меня возникало забавное ощущение, как будто я здесь — член семьи. Следствие длилось одиннадцать месяцев, и под конец мне почти не верилось, что у меня когда-то бывали другие удовольствия, кроме этих редких минут, когда следователь провожал меня до дверей кабинета, похлопывал по плечу и говорил дружески:

— Ну, на сегодня хватит, господин Антихрист!

А затем меня передавали с рук на руки жандармам.

II

Об иных вещах я всегда не любил говорить. И в тюрьме я в первые же дни понял: об этой полосе моей жизни говорить будет неприятно.

Потом я стал думать, что и это чувство ровно ничего не значит. В сущности, на первых порах я еще не был настоящим арестантом, я смутно ждал: вот-вот что-то изменится. Все началось только после первого и единственного посещения Мари. С того дня, как я получил от нее письмо (она писала, что ей больше не разрешают меня навещать, потому что мы не женаты), с того самого дня я почувствовал: теперь камера и есть мой дом и на этом жизнь моя остановилась. Сначала после ареста меня заперли в помещении, где уже сидели несколько заключенных, почти все — арабы. Увидев меня, они стали смеяться. Потом спросили, что я сделал. Я сказал, что убил араба, и они замолчали. Но очень скоро стемнело, и они объяснили мне, как разложить циновку, на которой предстояло спать. Один конец надо скатать валиком вместо подушки. Всю ночь у меня по лицу бегали клопы. Через несколько дней меня перевели в одиночку, там я спал на деревянных

нарах. У меня была параша и жестяной таз для умывания. Тюрьма стояла высоко над городом, и в узкое оконце видно было море. Однажды, когда я, ухватясь за прутья решетки, тянулся к свету, вошел надзиратель и сказал, что ко мне пришли. Я подумал — наверно, Мари. И правда, это была она.

В комнату свиданий меня вели длинным коридором, потом по лестнице и наконец еще одним коридором. Я вошел в просторный зал с огромными окнами по одной стене. Две решетчатые перегородки рассекали зал во всю длину на три части. Пустое пространство между решетками, метров восемь или десять, отделяло посетителей от арестантов. Напротив меня стояла Мари, я увидел платье в полоску и загорелое лицо. По ту же сторону, что и я, было еще с десяток заключенных, почти все — арабы. Посетительницы, кроме Мари, тоже были больше мавританки; справа от нее, плотно сжав губы, стояла маленькая старушка в черном, слева — простоволосая толстуха, эта кричала во все горло и размахивала руками. Да и всем заключенным и посетителям приходилось кричать, расстояние между решетками было слишком велико. Гул голосов и резкий свет, лившийся в окна, еще усиливались, отражаясь от

голых стен, и, когда я вошел, у меня даже голова закружилась. В камере моей было куда тише и темнее. Не вдруг я освоился. Но потом в ярком свете начал ясно различать лица. В конце прохода между решетками сидел надзиратель. Многие арестанты-арабы и их родичи присели друг против друга на корточки. Эти не кричали. Несмотря на шум и гам вокруг, они говорили совсем тихо и умудрялись понимать друг друга. Они глухо бормотали внизу, будто гудела басовая струна, сопровождая вопросы и ответы, перелетавшие у них над головой. Все это я заметил очень быстро и направился к Мари. Она уже прильнула к решетке и изо всех сил улыбалась мне. Она показалась мне очень красивой, но я не умел ей это сказать.

— Ну как? — очень громко спросила она.

— Да так.

— Ты здоров, у тебя есть все, что нужно?

— Да, есть.

Мы замолчали, Мари все улыбалась. Толстуха что-то орала моему соседу, рослому детине со светлыми волосами и простодушным взглядом, — наверно, мужу. Разговор этот, видно, начался еще до моего прихода.

— Жанна не хотела его брать! — во всю мочь вопила толстуха.

— Да, да, — повторял муж.

— Я ей сказала, что ты, как выйдешь, опять его заберешь, а она все равно не захотела его взять!

Тут Мари крикнула, что Раймон передает мне привет, и я сказал:

— Спасибо.

Но меня заглушил сосед, крикнув жене:

— А он как, здоров?

Она засмеялась и ответила:

— Лучше всех!

Мой сосед слева — молодой, щуплый, с тонкими руками — все время молчал. Я заметил, что он стоит напротив маленькой старушки и они неотрывно смотрят друг на друга. Но больше я не успел за ними понаблюдать, потому что Мари закричала: надо надеяться на лучшее!

Я сказал:

— Да.

Я смотрел на нее, и мне хотелось сжать ее плечо, прикрытое легким платьем. Мне хотелось этой чудесной плоти, и, право, не знаю, на что еще, кроме этого, стоило надеяться. Но, конечно, то же самое думала и Мари, потому что она все время улыбалась. Теперь я только и видел блеск ее зубов да смеющиеся морщинки у глаз. Она опять закричала:

— Вот выйдешь — и поженимся!

— Ты думаешь? — ответил я, надо ж было что-то сказать.

Она ответила очень быстро и очень громко — да-да, меня оправдают, и мы еще поплаваем. Но толстуха рядом с нею кричала еще громче: она, мол, передала корзинку в тюремную канцелярию — и перечисляла все, что в корзинку положено. И пускай он проверит — ведь все это стоит денег! Второй мой сосед и его мать по-прежнему не сводили глаз друг с друга. Внизу все так же вполголоса переговаривались арабы. На улице яркий свет словно набухал и давил на окна. Он стекал по лицам, точно сок из лопнувшего плода.

Мне нездоровилось, и я рад был бы уйти. От шума ломило виски. И все-таки хотелось, пока можно, видеть Мари. Не знаю, сколько еще времени прошло. Мари стала рассказывать о своей работе, а улыбка все не сходила с ее лица. Бормотанье, крики, разговоры были как перекрестный огонь. Уцелел только один островок тишины — щуплый молодой человек рядом со мной и его старуха мать молча глядели друг на друга. Понемногу арабов начали уводить. Как только первый вышел, почти все в зале умолкли. Старушка напротив придвинулась поближе к решетке, и в эту

самую минуту надзиратель сделал знак ее сыну. Тот сказал:

— До свиданья, мама.

А она просунула руку между прутьями и махнула ему долгим, медленным движением.

Она вышла, и сейчас же появился мужчина со шляпой в руке и стал на ее место. Ввели нового арестанта, и они заговорили оживленно, но негромко, потому что в зале теперь все притихли. Надзиратель пришел за другим моим соседом, и жена крикнула ему, будто не замечая, что повышать голос уже незачем:

— Ты поосторожней! Береги себя!

Потом настал мой черед. Мари послала мне воздушный поцелуй. В дверях я оглянулся. Она стояла как вкопанная, прижимаясь лицом к решетке, и улыбалась все той же застывшей, вымученной улыбкой.

Вскоре после этого она мне написала. И тогда же началось многое такое, о чем я всегда не любил говорить. Хотя не надо преувеличивать: мне это давалось легче, чем другим. Однако первое время в тюрьме хуже всего было то, что у меня еще появлялись мысли свободного человека. Например, вдруг захочется полежать на песке, спуститься к морю. Ясно представлялось — всплескивают под

ногами первые волны, погружаешься в воду, становится так легко, вольно — и тут вокруг разом смыкаются стены тюрьмы. Но через несколько месяцев это прошло. И уже все мысли были арестантские. Я ждал, когда меня выведут во двор на ежедневную прогулку либо когда придет адвокат. И остальное время научился проводить неплохо. И часто думал: если бы меня заставили жить в стволе высохшего дерева и совсем ничего нельзя было бы делать, только смотреть, как цветет небо над головой, я бы понемногу и к этому привык. Ждал бы, чтоб пролетела птица или наползли облака, все равно как здесь жду, в каком еще диковинном галстуке явится мой адвокат, а в прежней жизни запасался терпеньем до субботы, когда можно будет обнять Мари. Так ведь, если вдуматься, я не сижу в стволе сухого дерева. Есть люди несчастнее меня. Хотя это не моя мысль, а мамина, мама часто повторяла, что в конце концов ко всему привыкаешь. Впрочем, обычно я не заходил так далеко в своих рассуждениях. Первые месяцы давались тяжело. Надо было как-то себя одолевать, но это-то и помогало провести время. К примеру, мучительно хотелось женщину. Это естественно, я молод. Я никогда не думал именно о Мари. Думал просто о женщине, вообще о жен-

щинах, обо всех, кого знал, и о том, когда и как с ними сходился, но думал так много, что вся камера наполнялась их лицами, в ней становилось тесно от моих желаний. В каком-то смысле это выводило из равновесия. Зато так я легче убивал время. Под конец мне стал сочувствовать старший надзиратель, он обычно сопровождал того малого, который приносил с кухни еду. Старший надзиратель и заговорил со мной о женщинах. Он сказал — всем арестантам этого больше всего не хватает. Я сказал — мне тоже, несправедливо так обращаться с людьми.

— Да ведь для того вас и сажают в тюрьму, — сказал он.

— Как так?

— Ну да, свобода это самое и есть. А вас лишают свободы.

Прежде мне такое в голову не приходило. А ведь правильно. Я сказал:

— Да, верно — иначе какое же это было бы наказание?

— Вот-вот, вы-то разбираетесь. А другие нет. Но в конце концов они начинают сами себя утешать.

И он ушел.

Потом — сигареты. В тюрьме у меня сразу ото-

брали пояс, шнурки от ботинок, галстук и все, что было в карманах, главное — сигареты. Попав в камеру, я попросил, чтобы мне все это вернули. Но мне сказали — это запрещено. Первые дни было очень тяжко. Пожалуй, то, что нельзя курить, угнетало меня больше всего. Я отдирал от нар щепочки и сосал их. Весь день меня мутило. Я не понимал, почему у меня отнимают то, что никому не мешает и не вредит. Позже понял: это тоже часть наказания. Но к тому времени я уже отвык курить, и это больше не было для меня наказанием.

Если не считать этих неприятностей, я был не так уж несчастен. Самое главное, повторяю, убить время. Я научился вспоминать разные разности и с тех пор больше не скучал. Иногда принимался вспоминать свою комнату, представлять себе — вот я обхожу ее кругом, начинаю вон с того угла и перебираю мысленно каждую мелочь, которая встретится на пути. Сперва этого хватало ненадолго. Но с каждым разом получалось немного дольше. Потому что я вспоминал каждый стул, что где стоит, что лежит в каком ящике, каждый пустяк, все подробности — инкрустацию, щербинку, трещинку, что какого цвета и какое на ощупь. В то же время я старался

не сбиться, перебрать все по порядку и ничего не забыть. И через несколько недель у меня уже уходили часы только на то, чтобы перечислить все вещи, сколько их было в моей комнате. Чем больше я вспоминал, тем больше всплывало в памяти разных неприметных мелочей. Вот тогда я понял: если человек жил хотя бы один только день, он потом спокойно может сто лет просидеть в тюрьме. У него будет вдоволь воспоминаний, чтоб не скучать. Если угодно, это тоже утешает.

И еще сон. Вначале я плохо спал по ночам и совсем не спал днем. Понемногу ночью дело наладилось, и я даже научился спать днем. А в последние месяцы я спал по шестнадцать, по восемнадцать часов в сутки. Оставалось убить шесть часов, для этого у меня были завтрак, обед и ужин, естественные нужды, воспоминания да еще история про чеха.

Однажды я нашел на нарах под соломенным тюфяком прилипший к нему обрывок старой газеты — пожелтевший, почти прозрачный. Это был кусок уголовной хроники, начала не хватало, но, по-видимому, дело происходило в Чехословакии. Какой-то человек пустился из родной деревни в дальние края попытать счастья. Через двадцать пять лет, разбогатев, с женой и ребенком он воз-

вратился на родину. Его мать и сестра содержали маленькую деревенскую гостиницу. Он решил их удивить, оставил жену и ребенка где-то в другом месте, пришел к матери — и та его не узнала. Шутки ради он притворился, будто ему нужна комната. Мать и сестра увидели, что у него много денег. Они молотком убили его, ограбили, а труп бросили в реку. Наутро явилась его жена и, ничего не подозревая, открыла, кто был приезжий. Мать повесилась. Сестра бросилась в колодец. Я перечитал эту историю, наверно, тысячу раз. С одной стороны, она была неправдоподобна. С другой — вполне естественна. По-моему, этот человек в какой-то мере заслужил свою участь. Никогда не надо притворяться.

Вот так я часами спал, вспоминал, перечитывал отрывки из этой истории, в камере становилось то светло, то темно — а время шло. Где-то когда-то я вычитал, что в тюрьме человек под конец теряет представление о времени. Но тогда это для меня был звук пустой. Я не понимал, что день может быть сразу и очень длинным, и очень коротким. Конечно, прожить такой день — это долго, но они так растягивались, что в конце концов сливались, один переходил в другой. Они стали безликие, безымянные. Только слова

«вчера» и «завтра» еще не потеряли свой смысл.

Однажды надзиратель сказал, что я сижу в тюрьме уже пять месяцев, — и я поверил, но понять не понял. Для меня в камере нескончаемо тянулся все один и тот же день, и забота у меня была все одна и та же. Когда надзиратель ушел, я погляделся, как в зеркало, в жестяной котелок. Мне показалось, мое отражение остается хмурым, даже когда я стараюсь ему улыбаться. Я повертел котелок и так, и эдак. Опять улыбнулся, но отражение оставалось строгим и печальным. Смеркалось, и это был час, о котором мне не хочется говорить, безымянный час, когда со всех этажей тюрьмы безрадостным шествием поднимаются глухие вечерние шумы и медленно замирают. Я подошел к оконцу и в последних сумеречных отсветах еще раз всмотрелся в свое отражение. Оно по-прежнему было серьезное, и что в этом удивительного, раз я и сам теперь был серьезен? Но тут, впервые за столько месяцев, я отчетливо услышал свой голос. Так вот что за голос уже много дней отдавался у меня в ушах: только тут я понял, что все время, сидя в одиночке, разговаривал сам с собой. И вспомнил, что говорила сиделка на похоронах мамы. Да, никакого выхода нет, и никто не может себе

представить, что такое вечера в тюрьме.

III

В сущности, лето очень быстро сменилось другим летом. Я заранее знал, что с приходом жары для меня настанет новая полоса. Дело мое должно было слушаться на последней сессии суда присяжных, она заканчивается в июне. Когда процесс начался, на воле все полно было солнцем. Мой защитник уверял, что разбирательство продлится дня два-три, не больше.

— Суд будет спешить, — прибавил он, — потому что ваше дело на этой сессии не самое важное. Есть еще отцеубийство, им займутся сразу после вас.

В половине восьмого утра за мной пришли и в тюремной машине отвезли в здание суда. Два жандарма ввели меня в затхлую каморку, там пахло темнотой. Мы ждали, сидя у двери, а за нею разговаривали, перекликались, двигали стульями — словом, было шумно и суматошно, как на благотворительном вечере, когда после концерта середину зала освобождают для танцев. Жандармы сказали, что заседание еще не начиналось, и один предложил мне сигарету, но я отказался. Немного погодя он спросил, не

трушу ли я, и я сказал — нет. В известном смысле мне даже интересно: посмотрю, как это бывает. Никогда еще не случалось попасть в суд.

— Да, — сказал второй жандарм, — но под конец это надоедает.

Немного спустя в комнате звякнул звонок. Тогда с меня сняли наручники. Отворили дверь и подвели меня к скамье подсудимых. В зале набилось полно народу. Шторы спущены, но кое-где пробивается солнце, и дышать уже нечем. Окон не открывали. Я сел, жандармы стали по бокам. И тут я увидел вереницу лиц напротив. Все они смотрели на меня, и я понял — это присяжные. Но я их не различал, они были какие-то одинаковые. Мне казалось, я вошел в трамвай, передо мною сидят в ряд пассажиры — безликие незнакомцы, — и все уставились на меня и стараются подметить, над чем бы посмеяться. Я понимал, что это все глупости: во мне ищут не смешное, а преступное. Но разница не так уж велика — во всяком случае, такое у меня тогда было ощущение.

И еще меня ошеломило множество народу — как сельди в бочке. Я опять оглядел зал, но не различил ни одного лица. Наверно, сперва я не понимал, что вся эта толпа сошлась сюда

поглазеть на меня. Обычно люди не обращали на меня внимания. Пришлось сделать усилие, чтобы сообразить, что вся эта суматоха из-за меня. Я сказал жандарму:

— Сколько народу!

Он ответил — это газеты постарались — и показал на кучку людей у стола, пониже скамьи присяжных.

— Вот они, — сказал он.

— Кто? — спросил я.

И он повторил:

— Газеты.

Он увидел знакомого репортера, тот как раз направлялся к нам. Это был человек уже немолодой, с приятным, хотя, пожалуй, чересчур подвижным лицом. Он сердечно пожал жандарму руку. Тут я заметил, что все эти люди раскланивались, перекликались, переговаривались, будто в клубе, где все свои и рады побыть в дружеском кругу. Так вот отчего у меня сперва было это странное ощущение, словно я тут лишний, непрошеный гость. Однако репортер с улыбкой обратился ко мне. Он надеется, сказал он, что для меня все кончится благополучно. Я сказал — спасибо, и он прибавил:

— Знаете, мы немножко раздули ваше дело. Для

газет лето — мертвый сезон. Ничего не подворачивалось стоящего, только вот вы да отцеубийца.

Потом он показал на одного из репортеров в группе, от которой он сам отошел, — этот человек напоминал разжиревшего хорька, на носу у него красовались огромные очки в черной оправе, — и сказал, что это специальный корреспондент одной парижской газеты.

— Вообще-то он приехал не ради вас. Он будет писать о процессе отцеубийцы, а уж заодно его попросили рассказать и о вашем деле.

Я чуть не поблагодарил еще раз, да спохватился, что это было бы смешно. Он приветливо махнул мне рукой и отошел. Потом мы еще немного подождали.

Явился мой защитник, в адвокатской мантии, окруженный своими собратьями. Направился к репортерам и стал жать им руки. Они шутили, смеялись и, видно, чувствовали себя как дома, пока в зале не раздался звонок. Тогда все разошлись по местам. Защитник подошел, пожал мне руку и посоветовал на вопросы отвечать кратко, ни о чем не заговаривать первым, а в остальном положиться на него. Слева от меня шумно отодвинули стул, я обернулся — там усаживался высокий сухопарый человек в пенсне, заботливо

расправляя красную мантию. Это был прокурор. Судебный пристав объявил, что суд идет. В эту минуту зажужжали два огромных вентилятора. Вошли трое судей — двое в черных мантиях, третий — в красной, у каждого под мышкой папка с бумагами — и быстрым шагом направились к возвышению. Тот, что в красном, сел в кресло посередине, положил свою шапочку перед собой на стол, вытер платком лысину и объявил заседание суда открытым.

Репортеры уже навострили перья. Лица у них были равнодушные и немного насмешливые. Впрочем, один, самый молодой, в сером фланелевом костюме с голубым галстуком, еще не брался за самопишущую ручку, которая лежала перед ним на столе, и только смотрел на меня. В лице его была какая-то неправильность, но я видел только глаза — очень светлые, они пристально изучали меня, однако их выражение я не мог уловить. Очень странно — мне показалось, будто это я сам себя разглядываю. Может, поэтому и еще потому, что мне не знакомы судебные порядки, я плохо понимал, что происходило дальше: отбирали по жребию кандидатов в присяжные, председатель о чем-то спрашивал защитника, прокурора и присяжных (каждый раз головы всех

присяжных разом поворачивались в его сторону), скороговоркой читали обвинительный акт (я услыхал знакомые имена и названия знакомых мест), опять задавали вопросы защитнику.

А потом председатель сказал, что сейчас вызовут свидетелей. Пристав громко прочитал имена, они привлекли мое внимание. Из людского сборища, которое перед тем было слитным и безликим, по одному поднимались и затем уходили в боковую дверь директор и привратник дома призрения, старик Тома Перез, Раймон, Масон, Саламано, Мари. Она украдкой тревожно кивнула мне.

Я удивлялся, как это я раньше никого из них не заметил, и вдруг назвали последнее имя, и поднялся Селест. Рядом с ним я увидел ту чудачку, которая в ресторане села за мой столик, и узнал ее жакет, решительное лицо и механические движения. Она смотрела на меня в упор. Но мне некогда было раздумывать, потому что председатель заговорил. Он сказал, что суд переходит к слушанию дела и, надо надеяться, нет нужды призывать публику к тишине и порядку. Его, председателя, долг позаботиться о том, чтобы дело разбиралось со всем беспристрастием и непредвзятостью. Присяжным надлежит вынести приговор в духе

истинной справедливости, а кроме всего прочего, если кто-нибудь вздумает нарушить порядок, он, председатель, велит очистить зал.

Становилось все жарче, кое-кто в публике обмахивался газетой. Непрестанно слышалось это бумажное шуршанье. Председатель дал знак приставу, тот принес три плетеных соломенных веера, и судьи сразу пустили их в ход.

И сейчас же меня начали допрашивать. Председатель задавал мне вопросы очень спокойно и даже как бы доброжелательно. Снова потребовалось назвать мое имя, фамилию, возраст и прочее, и, хотя это мне порядком надоело, я подумал: в сущности, это естественно, ведь не шутка, если бы вдруг судили не того, кого надо. Потом председатель снова принялся рассказывать о том, что я сделал, и через каждые два слова переспрашивал меня:

— Так? Правильно?

И я каждый раз отвечал, как научил меня защитник:

— Да, господин председатель.

Это тянулось долго, потому что председатель рассказывал дотошно, со всеми подробностями. И все время репортеры записывали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и той

маленькой женщины-автомата. Все пассажиры с трамвайной скамейки смотрели на председателя. Он покашлял, полистал бумаги и, обмахиваясь соломенным веером, повернулся ко мне.

Он сказал, что должен сейчас затронуть вопросы, по видимости не имеющие отношения к моему делу, но, быть может, по существу весьма тесно с ним связанные. Я понял: сейчас он заговорит о маме — и мне стало тошно. Он спросил, почему я отдал маму в дом призрения. Я ответил — потому что у меня не хватало денег на уход за нею и на сиделку. Он спросил, не трудно ли мне было на это решиться, и я ответил — мы с мамой больше ничего друг от друга не ждали, да и ни от кого другого тоже, и оба мы привыкли к новому образу жизни. Тогда председатель сказал, что не стоит больше углубляться в эту тему, и спросил прокурора, нет ли у того ко мне вопросов.

Прокурор, не глядя на меня, через плечо заявил, что, с разрешения председателя, он желал бы узнать, для того ли я один вернулся к роднику, чтобы убить араба.

— Нет, — сказал я.

— Тогда почему же обвиняемый был вооружен и почему он вернулся именно на это место?

Я ответил — это вышло случайно. И прокурор

процедил сквозь зубы:

— Пока достаточно.

Дальше пошла какая-то неразбериха, по крайней мере такое у меня было ощущение. А потом судьи пошептались и председатель объявил перерыв; на вечернем заседании, сказал он, будут выслушаны свидетели.

У меня не было времени подумать. Меня вывели из зала, посадили в арестантскую машину и отвезли в тюрьму, там я поел. И очень скоро, как раз когда я почувствовал, что устал, за мной опять пришли; все началось сызнова, я очутился в том же зале, на меня смотрели те же лица. Только стало куда жарче, и, точно по волшебству, в руках у всех присяжных, у прокурора, защитника и некоторых репортеров тоже появились соломенные веера. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на прежних местах. Но они не обмахивались веерами и все так же молча смотрели на меня.

Я утирал пот со лба и плохо понимал, где я и что со мной, как вдруг услышал, что вызывают директора дома призрения. Его спросили, жаловалась ли мама на меня, и он сказал — да, но это дело обычное, все обитатели дома вечно жалуются на своих родных. Председатель попросил уточнить,

упрекала ли меня мама в том, что я отдал ее в дом призрения, и директор опять сказал — да. Но на этот раз ничего больше не прибавил. На другой вопрос он ответил, что его удивило мое спокойствие в день похорон. Его спросили, что он подразумевает под словом «спокойствие». Директор опустил глаза и сказал, что я не хотел видеть маму в гробу, не пролил ни слезинки и не побыл у могилы, а уехал сразу же после погребения. И еще одно его удивило: служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знал точно, сколько моей матери было лет. Минуту все молчали, потом председатель спросил директора, обо мне ли он все это говорил. Тот не понял вопроса, и председатель пояснил: «Так полагается по закону». Потом спросил прокурора, нет ли у того вопросов к свидетелю, и прокурор воскликнул:

— О нет, этого предостаточно!

Он заявил это с таким жаром, так победоносно посмотрел в мою сторону, что впервые за много лет я, как дурак, чуть не заплакал, вдруг ощутив, до чего все эти люди меня ненавидят.

Председатель спросил присяжных и защитника, нет ли у них вопросов, потом вызвал привратника. С ним, как и с остальными, повторилась та же церемония. Выйдя на свидетельское

место, он посмотрел на меня и отвел глаза. Ему задавали вопросы, он отвечал. Он сказал, что я не хотел увидеть маму, что я курил, спал и пил кофе с молоком. Тут я почувствовал, как в зале нарастает волнение, и впервые понял, что виноват. Привратника заставили снова рассказать про кофе с молоком и про сигарету. Прокурор посмотрел на меня с насмешкой. В эту минуту мой адвокат спросил привратника, не курил ли и он со мною. Но прокурор яростно запротестовал:

— Да кто же здесь подсудимый и что за приемы у защиты! Напрасно она пытается очернить свидетелей обвинения, ей не удастся умалить вес их сокрушительных показаний!

Председатель все-таки потребовал, чтобы привратник ответил на вопрос. Старик смутился.

— Верно, я тоже виноватый, — сказал он. — Да только этот господин сам предложил мне сигарету, так отказываться было неловко.

Под конец меня спросили, не хочу ли я что-нибудь прибавить.

— Ничего, — сказал я, — свидетель правильно говорит. Это правда, я предложил ему сигарету.

Привратник поглядел на меня удивленно и как будто даже с благодарностью. Помялся немного и сказал, что он сам предложил мне кофе. Защит-

ник шумно обрадовался и заявил: присяжным следует это учесть. Но в ответ громом раскатился голос прокурора:

— Да, господа присяжные это учтут. И сделают вывод, что посторонний человек мог предложить чашку кофе, а вот сын у бездыханного тела той, которая дала ему жизнь, должен был от этого кофе отказаться.

Привратник вернулся на свое место.

Когда настала очередь старика Переза, приставу пришлось под руку довести его до трибуны. Тома Перез сказал, что он был больше знаком с моей матерью, а меня видел только один раз, в день похорон. Его спросили, что я делал в тот день, и он ответил:

— Понимаете, я был убит горем. Так что я ничего не видел. Я ничего не видел от горя. Потому как для меня это было тяжкое горе. Я даже лишился чувств. Так что я не мог видеть господина Мерсо.

Прокурор спросил — может быть, он по крайней мере видел, что я плакал? Перез ответил — нет, не видел. И прокурор в свой черед сказал:

— Господам присяжным следует это учесть.

Но тут мой защитник вспылил. И спросил Переза, по-моему, чересчур сердито, видел ли он, что я не плакал. Перез сказал:

— Нет.

В зале засмеялись. И защитник, откидывая широкий рукав, громогласно заявил:

— Вот он каков, этот процесс! Все правильно, и все вывернуто наизнанку!

У прокурора стало каменное лицо, он тыкал карандашом в свои бумаги.

Объявили перерыв на пять минут, и защитник успел сказать мне, что все идет хорошо, а после этого вызвали Селеста — свидетеля со стороны защиты. То есть с моей стороны. Селест поглядывал на меня и вертел в руках панаму. Он был в новом костюме, который надевал иногда по воскресеньям, когда мы с ним ходили на скачки. Но, видно, воротничок ему уже не под силу было надеть, и рубашка на шее разъехалась бы, если бы не медная запонка. Селеста спросили, столовался ли я у него, и он сказал — да, но, кроме того, он мой друг. Спросили, какого он обо мне мнения, и он ответил, что я — человек. А как это понимать? Всякий понимает, что это значит, заявил Селест. А замечал ли он, что я замкнутый и скрытный? В ответ Селест сказал только, что я не трепал языком попусту. Прокурор спросил, всегда ли я вовремя платил за стол. Селест засмеялся и сказал:

— Да это пустяки, мы с ним всегда сочтемся.

Его спросили, что он думает о моем преступлении.

Тогда он оперся обеими руками о барьер, и стало ясно: он заранее приготовился на это ответить. Он сказал:

— Я так считаю, это несчастье. Всякий знает, что такое несчастье. Ты перед ним беззащитен. Так вот, я считаю, это было несчастье.

Он хотел продолжать, но председатель сказал — очень хорошо, спасибо. Селест немного растерялся. Но все-таки заявил, что ему надо еще кое-что сказать. Его попросили говорить покороче. Он опять повторил, что со мной случилось несчастье. И председатель сказал:

— Да, понятно. Но мы для того здесь и находимся, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарю вас.

Тогда, словно не зная, как быть дальше и чем еще помочь, Селест повернулся ко мне. И мне показалось, глаза у него заблестели и губы дрожат. Он будто спрашивал, что еще можно сделать. А я ничего не сказал и не подал ему никакого знака, но в первый раз за всю мою жизнь мне захотелось обнять мужчину. Председатель опять велел ему уйти со свидетельского места. И Селест пошел и

сел среди публики. До самого конца заседания он сидел, наклонясь вперед, локти в колени, панама в руках, и внимательно слушал.

Вошла Мари. Она была в шляпке и все-таки красивая. Но мне она больше нравится с непокрытыми волосами. Я даже издали угадывал, как колышется ее грудь, видел знакомую, всегда немного припухшую нижнюю губу. Казалось, Мари очень волнуется. Ее сразу спросили, давно ли она меня знает. Она сказала — с тех пор, как служила у нас в конторе. Председатель поинтересовался, в каких она со мной отношениях. Мари сказала, что она моя приятельница. А на другой вопрос ответила: да, правда, она собиралась за меня замуж. Прокурор перелистал свои бумаги и вдруг спросил, когда началась наша связь. Мари назвала месяц и число. Прокурор сделал равнодушное лицо и заметил — если он не ошибается, как раз накануне похоронили мою мать. Потом усмехнулся и прибавил, что понимает смущение Мари и рад бы не развивать далее столь деликатную тему, но (тут голос его зазвучал резко) его долг — стать выше условностей. И он потребовал, чтобы Мари описала тот день, когда мы с ней сошлись. Мари не хотела говорить, но прокурор настаивал, и она расска-

зала, как мы с ней купались и ходили в кино, а потом пошли ко мне домой. Прокурор сказал, что после показаний Мари на следствии он уже поинтересовался, какая в тот день шла картина. Но пускай Мари сама скажет, что за фильм тогда показывали. Мари еле слышно назвала фильм с участием Фернанделя. Когда она умолкла, в зале стояла мертвая тишина. Тут прокурор поднялся, лицо у него было очень серьезное, и в голосе мне послышалось непритворное волнение, он ткнул в мою сторону пальцем и медленно проговорил:

— Господа присяжные заседатели, на другой день после смерти матери этот человек едет на пляж купаться, заводит любовницу и идет в кино на развеселую комедию. Больше мне нечего вам сказать.

Он сел, в зале по-прежнему было тихо. И вдруг Мари громко зарыдала и стала говорить — это все неправда, было совсем по-другому, и ее заставили говорить не то, что она думает, а она меня хорошо знает, и я ничего плохого не делал. Но председатель подал знак приставу, тот ее увел, и заседание продолжалось.

После этого никто уже толком не слушал Масона, который заявил, что я человек честный «и более того — порядочный». И никто не слушал

толком старика Саламано, когда он начал рассказывать, как я был добр к его собаке, а на вопрос, как я относился к матери, ответил, что нам с мамой уже не о чем было говорить, поэтому я и отдал ее в богадельню.

— Надо понимать, — твердил Саламано, — надо понимать.

Но, видно, никто не понимал. Его увели.

Потом пришел черед последнего свидетеля — Раймона. Он чуть заметно кивнул мне и сейчас же заявил, что я невиновен. Но председатель сказал — от свидетеля требуются не выводы, а факты. Его дело отвечать на вопросы. В каких отношениях он состоял с убитым арабом? Раймон воспользовался этим вопросом и сказал, что он-то и есть враг убитого, потому что дал пощечину его сестре — вот брат его и возненавидел. Но председатель спросил, а не имел ли убитый оснований ненавидеть и меня тоже. Раймон сказал — что я очутился на пляже, это чистая случайность. Тогда прокурор спросил, каким образом получилось, что письмо, из-за которого разыгралась вся трагедия, писал я. Раймон опять сказал, это — случайность. Прокурор возразил: в этой истории почему-то случай оказывается главным козлом отпущения. Интересно знать, вот когда

Раймон дал своей любовнице пощечину, я не вмешался — это тоже случайно? И свидетелем в полицейский участок пошел случайно? И что своими показаниями я всячески выгораживал Раймона — тоже случайность? Под конец он спросил, на какие средства живет Раймон, тот ответил: «Я кладовщик», и тогда прокурор заявил присяжным: всем известно, что у этого свидетеля особое ремесло, он — сутенер. А я его сообщник и приятель. Итак, тут имел место трагический фарс самого низкого пошиба, и перед судом не заурядный преступник, но выродок без стыда и совести. Раймон хотел оправдываться, и мой защитник тоже запротестовал, но им предложено было помолчать, пока не договорит прокурор. Прокурор сказал:

— Мне почти нечего прибавить. — И спросил Раймона: — Подсудимый был вашим приятелем?

— Да, — сказал Раймон, — он мне друг.

Прокурор и мне задал тот же вопрос, я посмотрел на Раймона, он не отвел глаз. Я сказал:

— Да.

Тогда прокурор повернулся к присяжным и провозгласил:

— Вот человек, который назавтра после смерти родной матери предавался постыдному распут-

ству, и этот же самый человек по ничтожному поводу, лишь бы покончить с грязной, безнравственной сварой, совершил убийство.

И сел. Но мой защитник вышел из терпения, воздел руки к небесам, так что откинулись широкие рукава мантии и стали видны складки крахмальной рубашки, и закричал:

— Да в чем же его наконец обвиняют — что он убил человека или что он похоронил мать?!

В зале поднялся смех. Но прокурор снова выпрямился, запахнулся в мантию и заявил — надо, мол, обладать наивностью почтенного защитника, чтобы не уловить, сколь глубокая, потрясающая, нерасторжимая связь существует между этими двумя разнородными фактами.

— Да! — закричал он с жаром. — Я обвиняю этого человека в том, что на похоронах матери он в сердце своем был уже преступен.

Его слова, видно, произвели большое впечатление на публику. Защитник пожал плечами и утер пот со лба. Но он, кажется, и сам растерялся, и я понял, что дело принимает для меня плохой оборот.

После этого все пошло очень быстро. Заседание закрылось. Когда меня выводили из здания суда и усаживали в тюремную машину, я на минуту

вдохнул тепло летнего вечера, почувствовал его запахи и краски. И потом, в темной камере на колесах, сквозь усталость вновь услыхал один за другим знакомые шумы города, который я всегда любил, звуки того часа, когда мне бывало хорошо и спокойно. Дневной гомон спадал, ясно слышались крики газетчиков, затихающий писк сонных птиц в сквере, зазывные вопли торговцев сандвичами, жалобный стон трамвая на крутом повороте и смутный гул, будто с неба льющийся перед тем, как на гавань опрокинется ночь, — по этим приметам я и вслепую узнавал дорогу, которую знал наизусть, когда был свободен. Да, в этот самый час мне бывало прежде хорошо и спокойно. Я знал: впереди — сон без тревог и без сновидений. Но что-то переменилось, и впереди у меня не только предвкушение завтрашнего дня, а еще и одиночная камера. Словно знакомые дорожки, прочерченные в летнем небе, могут привести не только к безмятежным снам, но и за тюремную решетку.

IV

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне — и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник говорил:

— Молчите! Для вас это будет лучше.

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все происходило без моего участия. Решалась моя судьба — и никто не спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и сказать: «Да кто же в конце концов обвиняемый? Это не шутка — когда тебя обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было сказать. Притом, хотя, пожалуй, и это любопытное ощущение, когда люди заняты

твоей особой, — оно быстро приедается. Скажем, прокурора я очень скоро устал слушать. Лишь изредка я улавливал какой-нибудь обрывок его речи, иная тирада, резкий жест поражали меня или казались стоящими внимания.

Насколько я понял, суть его мысли заключалась в том, что я совершил убийство с заранее обдуманным намерением. По крайней мере он старался это доказать. Он сам так говорил:

— Я это докажу, господа присяжные заседатели, и докажу двумя способами: сначала при ослепительном свете фактов, а затем при том зловещем свете, в котором предстает эта преступная душа, когда исследуешь ее тайные движения.

И он опять перечислил факты — все, что произошло после смерти мамы. Припомнил, какой я был бесчувственный, как не мог сказать, сколько маме было лет, а на другой день купался с женщиной, смотрел в кино комедию и наконец привел Мари к себе домой. Тут я не сразу его понял, потому что он все говорил «любовница», а для меня она — Мари. Потом он перешел к истории с Раймоном. Надо сказать, в его представлении все складывалось в довольно стройную систему. Все, что он говорил, звучало правдоподобно. Я написал письмо по сговору с Раймоном, чтобы

заманить его любовницу в ловушку и предать ее в безжалостные руки этого субъекта «сомнительной нравственности». На пляже я первым затеял драку с противниками Раймона. Его ранили. Я взял у него револьвер. И вернулся, чтобы пустить оружие в ход. Я затем и шел, чтобы убить того араба. После первого выстрела я выждал. А потом, «чтобы убедиться, что дело сделано на совесть», выпустил в него еще четыре пули — не спеша, уверенно, по какому-то продуманному плану.

— Так вот, господа, — продолжал прокурор, — я восстановил перед вами ход событий, которые привели этого человека к хладнокровному, предумышленному убийству. Повторяю и настаиваю: тут был умысел. Это не заурядное убийство под влиянием аффекта, не внезапный порыв, для которого вы могли бы найти смягчающие обстоятельства. Перед вами, господа, человек вполне разумный. Вы его слышали, не так ли? Он умеет отвечать на вопросы. Он знает цену словам. И уж никак нельзя сказать, что он действовал, не отдавая себе отчета в своих поступках.

Итак, меня считали разумным. Но я не мог понять, почему же то, что в обыкновенном человеке считается достоинством, оборачивается сокрушительной уликой против обвиняемого.

Это меня поразило, и я больше не слушал прокурора, пока до меня не донеслись такие слова:

— Раскаивается ли он по крайней мере? Ничуть не бывало! За все время, пока шло следствие, этот человек ни разу не обнаружил, что хоть сколько-нибудь удручен своим гнусным злодеянием.

Тут он повернулся ко мне и, показывая на меня пальцем, разразился новыми нападками, а почему — право, толком нельзя было понять. Конечно, я не мог не признать, что он отчасти прав. Да, я не слишком жалел о сделанном. Но странно, что он обрушивался на меня с такой яростью. Я охотно попробовал бы ему объяснить, вполне доброжелательно и даже дружески, что никогда я не умел по-настоящему о чем-либо сожалеть. Меня всегда занимает то, что впереди, сегодняшний и завтрашний день. Но, разумеется, когда тебя посадили на скамью подсудимых, уже ни с кем нельзя говорить в таком тоне. Я больше не имел права разговаривать по-дружески, доброжелательно. И я опять постарался прислушаться, потому что прокурор стал рассуждать о моей душе.

Он говорил, что пристально в нее всмотрелся — и ровно ничего не нашел, господа присяжные заседатели! Поистине, говорил он, у меня вообще нет души, во мне нет ничего человеческого и

нравственные принципы, ограждающие человеческое сердце от порока, мне недоступны.

— Без сомнения, — прибавил прокурор, — мы не должны вменять это ему в вину. Нельзя его упрекать в отсутствии того, что он попросту не мог приобрести. Но здесь, в суде, добродетель пассивная — терпимость и снисходительность — должна уступить место добродетели более трудной, но и более высокой, а именно — справедливости. Ибо пустыня, которая открывается нам в сердце этого человека, грозит разверзнуться пропастью и поглотить все, на чем зиждется наше общество.

И тут он заговорил о моем отношении к маме. Он повторил то, что уже высказывал раньше. Но теперь он стал куда многословнее, чем когда говорил о моем преступлении, — он распространялся так долго, что под конец я уже ничего не чувствовал, кроме жары. Во всяком случае, до той минуты, когда прокурор остановился, немного помолчал и вновь заговорил очень тихо и очень проникновенно:

— Господа присяжные, завтра этот же суд будет рассматривать дело о гнуснейшем из злодеяний — убийстве родного отца.

Подобное злодейство, сказал он, невозможно

вообразить. Он осмеливается выразить надежду, что людское правосудие сурово покарает преступника. Но он не побоится сказать, продолжал он, что даже это чудовищное преступление едва ли ужасает его сильнее, нежели мое бессердечие. Ибо, как он полагает, тот, кто убил родную мать душевной черствостью, столь же бесповоротно отторгает себя от человечества, как и тот, кто поднял на родителя преступную руку. Во всяком случае, первый открывает путь деяниям второго, в известном смысле предвещает их и узаконивает.

— Я убежден, господа, — продолжал прокурор, возвысив голос, — вы не сочтете мою мысль слишком дерзостной, если я скажу, что человек, сидящий сейчас на скамье подсудимых, виновен также и в убийстве, которое вы будете судить завтра. И соразмерно этой вине его надлежит покарать.

Прокурор отер лоснящееся от пота лицо. И в заключение сказал, что долг его тягостен, но он исполнит этот долг с твердостью. Он заявил, что мне нет места в обществе, чьих важнейших заповедей я не признаю, и я не вправе ждать милосердия, раз мне чужды простейшие движения человеческого сердца.

— Я требую от вас головы преступника, — сказал он, — и требую с чистой совестью. Немалый срок я тружусь на своем поприще, и мне уже случалось требовать смертной казни, но никогда еще я в такой мере не ощущал, что тяжесть этого долга возмещена, уравновешена, озарена сознанием властной и священной необходимости, а также и ужасом, который я испытываю при виде чудовища, в чьих чертах не могу прочесть ничего человеческого.

Когда прокурор сел на свое место, настала долгая минута молчания. Что до меня, я был оглушен жарой и удивлением. Председатель, покашляв, очень тихо спросил, не желаю ли я что-нибудь прибавить. Я поднялся — говорить мне хотелось, — и я сказал (правда, немного бессвязно), что вовсе не собирался убивать того араба. Председатель ответил, что это голословное заявление, до сих пор он плохо понимал, на что опирается моя защита, и прежде чем выслушать моего адвоката, рад был бы от меня самого узнать точнее, какими побуждениями я был движим. Понимая, что это звучит нелепо, я наскоро и довольно сбивчиво объяснил: все вышло из-за солнца. В зале раздались смешки. Мой адвокат пожал плечами, и сейчас же ему дали слово. Но он заявил, что уже

поздно, а для его речи понадобится не один час, и попросил отложить ее до вечернего заседания. Суд согласился.

После перерыва огромные вентиляторы все так же перемешивали застоявшийся воздух в зале суда и так же равномерно колыхались маленькие пестрые веера присяжных. Мне казалось, речи защитника не будет конца. В какую-то минуту я все-таки прислушался, потому что он сказал:

— Да, это правда, я убил.

И продолжал в том же духе — речь шла обо мне, а он всякий раз говорил «я». Меня это очень удивило. Я наклонился к жандарму и спросил, почему так. Он велел мне замолчать и через минуту прибавил:

— Адвокаты всегда так говорят.

Мне подумалось, таким образом меня еще больше отстраняют от дела, сводят к нулю и в некотором смысле подменяют. Но, видно, я был уже очень далек от всего, что происходило в этом зале. Да и защитник казался мне смешным. Он наспех упомянул, что я действовал по наущению и подстрекательству, а потом тоже стал рассуждать о моей душе. Но, по-моему, прокурор говорил куда талантливей.

— Я тоже всмотрелся в эту душу, — сказал за-

щитник, — но в отличие от многоуважаемого представителя прокуратуры я там кое-что нашел и могу сказать, что читал в этой душе, как в открытой книге.

Он прочел, что я честный человек, прилежный и неутомимый труженик, верный интересам фирмы, в которой служил, любимый окружающими и отзывчивый к чужому горю. По его мнению, я был примерным сыном и оставался опорой матери до последней возможности, а в дом призрения отдал ее в надежде, что там она обретет покой и уют, какими я при своих скудных средствах не мог ее окружить.

— Меня удивляет, господа присяжные заседатели, — прибавил мой защитник, — что вокруг этого приюта для престарелых поднят такой шум. Ибо, если нужно доказывать полезность и великодушие подобных учреждений, напомню, что их содержит само государство.

Он только не сказал о похоронах, и я почувствовал, что это пробел в его речи. Но от всех этих длинных фраз, от нескончаемых часов, когда толковали о моей душе, все словно затопило мутной водой, и у меня стала кружиться голова.

Помню только, под конец, пока мой защитник все еще что-то говорил, откуда-то с улицы, че-

рез все коридоры и залы суда, до меня долетел звук рожка — это проходил со своей тележкой мороженщик. И нахлынули воспоминания о той жизни, которая больше мне не принадлежала и которая прежде приносила мне самые скудные и самые верные радости: запахи лета, любимые улицы, краски вечернего неба, смех Мари, ее платье. Мне стало тошно от бессмысленного, бесполезного торчанья здесь, в этом зале, и хотелось только одного — поскорей бы все кончилось, поскорей бы вернуться в камеру и уснуть. Я едва слышал, как защитник в заключение воскликнул, что присяжные, конечно же, не захотят послать на смерть честного труженика, которого погубило кратковременное помрачение рассудка! Пусть примут они во внимание все смягчающие обстоятельства, ведь самой тяжкой карой для меня навек останутся угрызения совести. Суд удалился на совещание, а защитник, точно выбившись из сил, опустился на свое место. Но тут коллеги обступили его и начали жать ему руку.

— Великолепно, мой дорогой, — говорили ему.

А один даже призвал меня в свидетели.

— Каково? — сказал он мне.

Я согласился, что речь была великолепная, но не слишком искренне, потому что очень устал.

Между тем на улице день угасал, и в зале тоже стало не так жарко. По иным шумам, долетавшим снаружи, я догадывался, что вечер настает мягкий, прохладный. Все мы сидели и ждали. Но то, чего мы ждали все вместе, касалось одного меня. Я опять посмотрел в зал. Все осталось точно таким же, как в первый день. Я встретил взгляды репортера в сером пиджаке и женщины-автомата. И подумал, что за все время процесса ни разу не поискал глазами Мари. Не потому, что забыл о ней, а просто был слишком занят. Я увидел ее между Селестом и Раймоном. Она чуть кивнула мне, как будто говорила — наконец-то! — и улыбнулась, хотя была, видно, встревожена. Но у меня внутри все закаменело, и я даже не сумел улыбнуться в ответ.

Вернулись судьи. Присяжным наскоро зачитали ряд вопросов. До меня донеслось: «виновен в убийстве...», «подстрекательство...», «смягчающие обстоятельства...» Присяжные вышли, а меня увели в каморку, где я и раньше ожидал заседания. Туда пришел и защитник. Он болтал без умолку и говорил со мной так доверительно и дружелюбно, как никогда прежде. Он полагал, что все сойдет хорошо и я отделаюсь несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил, есть

ли надежда на пересмотр дела, если приговор будет неблагоприятный. Он сказал — нет. Его тактика заключалась в том, чтобы не подсказывать выводов: это лишь ожесточило бы присяжных. Приговор по такому делу, пояснил он, без серьезных оснований никто пересматривать не станет. Это мне показалось совершенно очевидным, и я с ним согласился. Если рассуждать трезво, это вполне разумно. Иначе развелось бы слишком много ненужной писанины.

— Во всяком случае, — сказал защитник, — можно подать прошение о помиловании. Но убежден, исход будет благоприятный.

Мы ждали очень долго, наверно, три четверти часа. Потом зазвенел звонок. Защитник направился к двери.

— Сейчас старшина присяжных зачитывает ответы на вопросы, — сказал он мне, выходя. — Вас введут только тогда, когда объявят приговор.

Где-то захлопали двери. По лестницам — не знаю, далеко или рядом, — бежали люди. Потом в зале послышался глухой голос, он что-то читал. Опять прозвенел звонок, меня повели на скамью подсудимых, и навстречу из зала хлынула тишина — странная, небывалая тишина, и еще меня поразило, что молодой репортер отвел глаза. В

сторону Мари я не посмотрел. Я не успел, потому что председатель в каких-то высокопарных выражениях сказал мне, что именем французского народа мне на площади прилюдно отрубят голову. И мне показалось: на всех лицах я читаю одно и то же чувство. Да, конечно, теперь все смотрели на меня с уважением. Жандармы стали очень милы. Адвокат взял меня за руку. Я ни о чем больше не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я еще что-нибудь прибавить. Я немного подумал. И сказал:

— Нет.

И тогда меня увели.

V

Уже третий раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать, и нет охоты с ним говорить, скоро я и так его увижу. А сейчас меня занимает только одно: нельзя ли ускользнуть от этой машины, вырваться из неизбежности? Меня перевели в другую камеру. Отсюда, когда лежишь, видно небо — и ничего, кроме неба. Все дни напролет я смотрю, как на лице его понемногу блекнут краски, превращая день в ночь. Ложусь, закидываю руки за голову и жду. Уж не знаю, сколько раз я себя спрашивал, бывало ли, чтобы осужденные на смерть ускользали от беспощадного механизма, исчезали до казни, прорывались сквозь цепь охраны. Напрасно я раньше не слушал с должным вниманием рассказов о смертной казни. Такими вещами следует интересоваться. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Как и все, я читал газетные отчеты. Но, уж наверно, есть и специальные труды, и я ни разу не полюбопытствовал в них заглянуть. Быть может, там нашлись бы и рассказы о побегах. Может, я узнал бы, что хоть раз колесо остановилось на полпути, что

хоть однажды случай и удача изменили что-то в неотвратимом ходе событий. Хоть однажды! В каком-то смысле, думаю, мне и этого было бы довольно. Сердце само довершило бы остальное. Газеты часто пишут: мол, общество предъявляет преступнику счет. И по счету, мол, надо платить. Но это ничего не говорит воображению. Важно другое — возможность ускользнуть, вырваться из рамок неумолимого обряда, безрассудный побег, открывающий столько надежд. В сущности, надеяться можно только на то, что тебя перехватят на перекрестке и забьют насмерть либо подстрелят на бегу. Но, если трезво все взвесить, мне такая роскошь недоступна, все обращается против меня, от этой машины не уйдешь.

При всем желании я не мог примириться с этой наглой очевидностью. Потому что был какой-то нелепый разрыв между приговором, который ее обусловил, и неотвратимым ее приближением с той минуты, когда приговор огласили. Его зачитали в восемь часов вечера, но могли зачитать и в пять, он мог быть другим, его вынесли люди, которые, как и все на свете, меняют белье, он провозглашен именем чего-то весьма расплывчатого — именем французского народа (а почему не китайского или немецкого?), — все это, казалось

мне, делает приговор каким-то несерьезным. И однако я не мог не признать, что с той минуты, как он был оглашен, его действие стало таким же ощутимым и несомненным, как стена, к которой я сейчас прижимался всем телом.

В эти часы я вспоминал одну историю, которую мама рассказывала мне об отце. Отца я не знал. Об этом человеке мне известно, пожалуй, только то, что рассказала тогда мама: однажды он пошел посмотреть на казнь убийцы. Ему тошно было даже думать о том, чтобы пойти туда. И все-таки он пошел, а когда вернулся, его чуть ли не все утро рвало. После этого рассказа мне как-то неприятно было думать об отце. А теперь я его понимаю, это так естественно. Как же я раньше не соображал, — нет на свете ничего важнее смертной казни, в известном смысле только она и заслуживает внимания! Если я когда-нибудь выйду из тюрьмы, всегда буду смотреть, как казнят. Впрочем, напрасно я об этом подумал. Потому что при одной мысли — вот я ранним утром окажусь за цепью охраны, вроде бы по другую сторону, буду просто зрителем, который придет, посмотрит, а потом его может выворачивать наизнанку, — при одной этой мысли к сердцу отравленной волной прихлынула радость. Нет,

это неразумно. Напрасно я позволил себе такие предположения, потому что меня тотчас обдало ледяным холодом, и я скорчился под одеялом. Я стучал зубами и никак не мог взять себя в руки.

Но, понятно, не всегда удается сохранить благоразумие. Иногда, например, я обдумывал новые законы. Я перестраивал систему наказаний. По-моему, самое важное — оставить осужденному хоть какую-то надежду. Пусть повезет одному из тысячи — этого довольно. Можно, скажем, составить некое снадобье, убивающее пациента (про себя я так и выражался: пациент) в девяти случаях из десяти. Одно условие — пусть пациент об этом знает. Потому что по зрелом размышлении, спокойно все обдумав и взвесив, я понял, чем плоха гильотина: она не оставляет ни тени надежды. Смерть пациента решена с первой минуты окончательно и бесповоротно. Тут все твердо, незыблемо, установлено раз и навсегда. Неотвратимо. Если каким-то чудом нож заело, все начнут сначала. А потому — досадная нелепость! — осужденный сам вынужден желать, чтобы машина работала безотказно. Я сказал — это недостаток. В каком-то смысле так оно и есть. Но в другом смысле нельзя не признать, что тут-то и кроется секрет отлично налаженного

дела. Осужденный волей-неволей оказывается заодно с теми, кто его казнит. В его же интересах, чтобы все шло без запинки.

И еще я не мог не признать, что прежде у меня были обо всем этом ложные понятия. Я долго думал, не знаю почему, что гильотина стоит на эшафоте и к ней надо подниматься по ступенькам. Наверно, это из-за революции 1789 года, то есть так меня учили в школе и так рисуют на картинках. Но однажды утром я вспомнил фотографию, которую поместили газеты в связи с одной нашумевшей казнью. Никакого помоста нет, гильотина стоит просто-напросто на земле. И она совсем не такая широкая, как мне представлялось. Забавно, что я не знал этого раньше. Механизм на снимке поражал своей законченностью, словно блестящий, безукоризненно точный инструмент. Чего не знаешь, то всегда преувеличиваешь. А теперь, напротив, я убеждаюсь, что все очень просто: машина стоит на одной плоскости с идущим к ней человеком. К ней подходишь, как к знакомому на улице. В каком-то смысле это тоже досадно. Взойти на эшафот, подняться к небу — тут есть за что ухватиться воображению. А здесь все подавляет некая механика — убивают тихо и скромно, чуть пристыженно и очень

аккуратно.

Еще две неотвязные мысли преследовали меня: рассвет и просьба о помиловании. Однако я сдерживал себя и старался про это не думать. Растягивался на койке, смотрел в небо и заставлял себя сосредоточиться. Небо стало зеленое — значит, уже вечереет. Я сделал над собой еще усилие: надо думать о чем-то другом. Прислушивался к своему сердцу. Никак не удавалось представить себе, что этот стук, неразлучный со мною с незапамятных времен, вдруг оборвется. Я никогда не отличался живым воображением. И все же пробовал вообразить такую секунду, когда биение сердца уже не будет отдаваться в висках. Но зря я старался. Опять и опять в мыслях моих рассвет или помилование. Под конец я решил — нет смысла себя принуждать.

Они приходят на рассвете, это я знал. И все ночи напролет только тем и занимался, что ждал рассвета. Не люблю, чтобы меня заставали врасплох. Уж если что-то должно случиться, лучше я буду к этому готов. Так что под конец я только урывками спал днем, а ночами терпеливо ждал, пока в небе, как в окне, затеплится свет. Трудней всего давался тот смутный час, когда, как я знал, они обычно принимаются за работу. С полуночи я

настораживался и ждал. Никогда прежде мое ухо не различало столько звуков — самых слабых, еле уловимых. Впрочем, мне, нужно сказать, везло — за все время я ни разу не услыхал шагов. Мама часто говорила, что человек никогда не бывает совершенно несчастен. В тюрьме, когда небо наливалось краской и в камеру проскальзывал свет нового дня, я понял — она была права. Ведь шаги могли бы и прозвучать, и тогда, пожалуй, у меня разорвалось бы сердце. Но хотя при малейшем шорохе меня кидало к двери и я прижимался ухом к толстым доскам и ждал долго, исступленно и под конец пугался своего же дыхания, такое оно было громкое, хриплое, точно у загнанного пса, — а все-таки вот и опять сердце не разорвалось, и я выиграл еще двадцать четыре часа.

А весь день на уме просьба о помиловании. Наверно, из этой мысли я извлек все, что только мог. Я ничего не упускал из виду, все до мелочей принимал в расчет, и мои рассуждения приносили отличные плоды. Для начала я всегда предполагал самое худшее: просьба о помиловании отвергнута. Так что же? Значит, я умру. Раньше, чем другие, разумеется. Но ведь всякий знает — жить не стоит труда. В сущности, я прекрасно понимал, что умереть в тридцать лет или

в семьдесят — невелика разница, все равно другие мужчины и женщины останутся жить после тебя, и так будет еще тысячи лет. Ясно и понятно, чего проще. Теперь или через двадцать лет — все равно я умру. Сейчас при этом рассуждении меня смущало одно: как подумаю, что можно бы прожить еще двадцать лет, внутри все так и вскинется. Оставалось глушить это чувство, внушать себе, что те же мысли одолевали бы меня и через двадцать лет, когда я все равно очутился бы в таком же положении. Ведь ясно и понятно: смерти не миновать, а когда и как умрешь — что за важность. Значит (трудней всего было не упустить нить рассуждений, которая вела к этому «значит»), — значит, надо примириться с тем, что мою просьбу могут отвергнуть.

Вот тут, только тут я, так сказать, получал право и в какой-то мере позволял себе допустить другую возможность: меня помилуют. Досадно одно: приходилось обуздывать неистовый порыв крови и плоти, сумасбродную ослепляющую радость. Надо было старательно заглушать этот внутренний крик трезвыми рассуждениями. Надо было освоиться и с этой возможностью, чтобы вернее покориться той, первой. Когда мне это удавалось, я выигрывал час спокойствия. А это

все же не пустяк.

Именно в такую минуту я еще раз отказался принять священника. Я лежал на койке и по тому, как бледнело летнее небо, угадывал приближение вечера. Только что я отклонил свою просьбу о помиловании и чувствовал, как спокойно течет кровь по жилам. Мне незачем было видеть священника. Впервые за много дней я подумал о Мари. Она уже давным-давно мне не писала. В тот вечер, поразмыслив, я сказал себе: может быть, ей надоело быть любовницей смертника. А могло случиться и другое — она заболела и умерла. Очень может быть. Откуда мне знать, что произошло, — ведь наши тела теперь врозь, а больше ничего нас не связывало и не напоминало друг о друге. Впрочем, если бы Мари умерла, я вспоминал бы о ней спокойно. Мертвая она бы меня ничуть не занимала. Это вполне естественно, и обо мне тоже, разумеется, забудут, как только я умру. Людям больше не будет до меня дела. Даже не могу сказать, чтобы это меня угнетало. В сущности, нет такой мысли, к которой человеку нельзя привыкнуть.

Вот тут-то и вошел священник. При виде его я слегка вздрогнул. Он это заметил и сказал — не надо бояться. Я сказал — обычно он приходит

в другой час. Он ответил, что пришел просто по-дружески меня навестить, просьба о помиловании тут ни при чем, он про нее ничего не знает. Он присел на мою койку и предложил мне сесть рядом. Я отказался. Впрочем, лицо у него было очень доброе.

Некоторое время он сидел, понурясь, облокотясь на колени, и разглядывал свои руки. Они были тонкие и мускулистые, точно два проворных зверька. Он медленно потер их. И застыл с опущенной головой, и не шевелился так долго, что я о нем чуть не забыл.

Но вдруг он вскинул голову и посмотрел на меня в упор:

— Почему вы всегда отказываетесь меня видеть?

Я ответил, что не верю в Бога. Он спросил, вполне ли я в этом уверен, и я сказал — мне незачем себя проверять, ведь это совершенно не важно. Тогда он откинулся назад, прислонился к стене, опустив руки на колени. И словно про себя заметил, что иногда людям кажется, будто они в чем-то уверены, а на самом деле это не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил:

— А как по-вашему?

Я сказал — всяко бывает. Может, я и не знаю

наверняка, что меня по-настоящему занимает. Но уж что мне совсем неинтересно — это я знаю твердо. Так вот, то, о чем он говорит, меня ничуть не интересует.

Он отвел глаза и, не меняя позы, спросил — должно быть, я так говорю от крайнего отчаяния? Я объяснил, что вовсе не отчаиваюсь. Только боюсь — а это вполне естественно.

— Господь вам поможет, — заметил он. — В вашем положении все, кого я знал, обращались к Господу.

Я сказал — что ж, это их право. Кроме того, очевидно, у них хватало на это времени. Ну а я не хочу, чтобы мне помогали, и у меня нет времени заниматься тем, что мне неинтересно.

Тут он было с досадой всплеснул руками, но сдержался и начал расправлять складки сутаны. Потом опять заговорил, называя меня «друг мой». Он, мол, так со мной говорит не потому, что я осужден на смерть, — ведь, в сущности, все мы осуждены на смерть. Я перебил его и сказал: это не одно и то же и, уж во всяком случае, это не утешает.

— Да, конечно, — согласился он. — Но если вы не умрете в скором времени, так умрете позже. И тогда перед вами встанет тот же самый вопрос.

Как встретите вы это страшное испытание?

Я ответил:

— Точно так же, как встречаю сейчас.

Он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Эта игра мне знакома. Я часто забавлялся ею с Эмманюэлем и Селестом, и, как правило, первыми глаза отводили они. Я сразу же понял, что и священник тоже хорошо знает эту игру: его взгляд не дрогнул. И голос тоже не дрогнул, когда он сказал:

— Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы живете с мыслью, что умрете совершенно и ничего от вас не останется?

— Да, — ответил я.

Он опустил голову и опять сел. И сказал, что ему меня жаль. Ему кажется — такое невозможно вынести человеку. А я чувствовал одно: он начинает мне надоедать. Я тоже отвернулся и подошел к окошку. И прислонился плечом к стене. Краем уха я слышал, что он опять задает мне вопросы. В голосе его звучала тревога и настойчивость. Я понял, что он взволнован, и стал слушать внимательней.

Он уверен, говорил он, что мою просьбу о помиловании удовлетворят, но на мне тяготеет грех — и от этого груза надо освободиться. У него

выходило, что людской суд ничего не значит, важен только суд Божий. Я сказал: меня-то осудили люди. Он возразил: однако этим не омыт мой грех. Я сказал: а мне неизвестно, что такое грех, мне объявили только, что я виновен. Я виновен и расплачиваюсь по счету, а больше с меня нечего спрашивать. Он снова поднялся, и я подумал — когда хочешь шевельнуться, в этой тесной камере нет выбора, только и можно встать или сесть.

Я смотрел в пол. Он шагнул ко мне и остановился, как будто не смел подойти ближе. Через решетку он посмотрел на небо.

— Вы заблуждаетесь, сын мой, — сказал он. — С вас могли бы спросить больше. А возможно, и спросят.

— Что спросят?

— Чтобы вы увидели.

— А что надо видеть?

Священник огляделся по сторонам, и голос его вдруг показался мне очень усталым:

— Я знаю, здесь каждый камень насквозь пропитан страданием. Не могу без скорби смотреть на эти стены. Но в глубине души знаю: самые несчастные из вас порой видели, как сквозь эти мрачные стены проступал Божественный лик. Вот его-то вы и должны увидеть.

Я немного оживился. И сказал, что уже много месяцев смотрю на эти стены. Я их изучил, как ни одну стену и ни одного человека на свете. Может быть, когда-то я и старался увидеть на них лицо. Но в том лице горят краски солнца и пламя желания — это лицо Мари. И я искал его понапрасну. А теперь с этим покончено. Во всяком случае, ничего я не видел и ничего сквозь эти камни не проступает.

Кажется, он посмотрел на меня с грустью. Теперь я прислонился к стене спиной, свет падал мне на лоб. Священник сказал несколько слов, которых я не расслышал, потом торопливо спросил: можно ему меня обнять?

— Нет, — сказал я.

Он отвернулся, шагнул к стене и провел по ней ладонью.

— Неужели вам так дорого все земное? — тихо спросил он.

Я ничего не ответил.

Он довольно долго стоял отвернувшись. Меня это злило, он был мне в тягость. Я уже хотел сказать — пускай уйдет и оставит меня в покое, как вдруг он обернулся ко мне и закричал с жаром:

— Нет, я не могу вам поверить! Я убежден, вам тоже случалось желать иной жизни.

Я ответил: да, конечно, но это бессмысленно — все равно как если хочешь разбогатеть, или плавать быстрей всех, или чтобы у тебя рот стал красивый. Совершенно одно и то же — пустые мечты. Тут он меня перебил и спросил: а как я себе представляю ту, иную жизнь? И я закричал:

— Так, чтобы вспоминать вот эту жизнь, земную!

И сейчас же прибавил — хватит с меня, надоело! Он хотел еще говорить о Боге, но я подступил к нему ближе и постарался в последний раз объяснить, что у меня осталось слишком мало времени. И я не желаю тратить его на Бога. Он попробовал переменить разговор и спросил, почему я называю его «господин священник», а не «отец мой». Я вспылил и ответил, что он мне не отец: он заодно с теми, кто против меня.

— Нет, сын мой, — сказал он и положил руку мне на плечо. — Я с вами. Но вы не в силах это понять, потому что сердце ваше слепо. Я буду за вас молиться.

Тут, не знаю почему, во мне что-то прорвалось. Я стал орать во все горло и выругал его и сказал — нечего за меня молиться. Я схватил его за воротник сутаны. От гнева и радости меня била дрожь, и я излил на него все, что скопилось в душе, до

самого дна. Он с виду такой уверенный и ни в чем не сомневается? Так вот, вся его уверенность не стоит единого женского волоска. Напрасно он уверен, что жив, ведь он живет как мертвец. Вот и я с виду нищий и обездоленный. Но я уверен в себе и во всем, куда уверенней, чем он, я уверен, что жив и что скоро умру. Да, кроме этой уверенности, у меня ничего нет. Но по крайней мере этой истины у меня никто не отнимет. Как и меня у нее не отнять. Я прав и теперь и прежде, всегда был прав. Я жил вот так, а мог бы жить по-другому. Делал то и не делал этого. Поступил так, а не эдак. Ну и что? Как бы там ни было, а выходит — я всегда ждал вот этой минуты, этого рассвета, тутто и подтвердится моя правота. Все — все равно, все не имеет значения, и я прекрасно знаю почему. И он тоже знает. На протяжении всей моей нелепой жизни, через еще не наступившие годы, из глубины будущего неслось мне навстречу сумрачное дуновение и равняло все на своем пути, и от этого все, что мне сулили и навязывали, становилось столь же призрачным, как те годы, что я прожил на самом деле. Что́ мне смерть других людей, любовь матери, что́ мне его Бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать, — ведь

мне предназначена одна-единственная судьба, мне и еще миллиардам избранных, всем, кто, как и он, называют себя моими братьями. Понятно ли ему, понятно ли наконец? Все люди на свете — избранные. Других не существует. Рано или поздно всех осудят и приговорят. И его тоже. Не все ли равно, если обвиненного в убийстве казнят за то, что он не плакал на похоронах матери? Псу старика Саламано цена не больше и не меньше, чем его жене. Маленькая женщина-автомат столь же виновна, как парижанка, на которой женился Масон, и как Мари, которая хотела стать моей женой. Не все ли равно, если моим приятелем был и Раймон, а не только Селест, который куда лучше Раймона? И не все ли равно, если Мари сегодня подставит губы какому-нибудь другому Мерсо? Так понимает ли он, приговоренный, что из глубины моего будущего… Я выкрикивал все это и задыхался от крика. Но священника уже вырвали у меня из рук, и надзиратели накинулись на меня с угрозами. Однако он их успокоил и минуту молча смотрел на меня. В глазах у него стояли слезы. Он повернулся и исчез.

Как только он вышел, я успокоился. Почувствовал, что очень устал, и бросился на койку. Наверно, я уснул, потому что, когда очнулся, в

лицо мне смотрели звезды. До меня доносились звуки с полей. Прохладный запах ночи, земли и моря освежал виски. Чудесное спокойствие спящего лета вливалось в меня, как прибой. Вдруг где-то на краю ночи взвыли пароходные гудки. Они возвещали отплытия и разлуки миру, который стал мне навсегда безразличен. В первый раз за долгий-долгий срок я подумал о маме. Кажется, я понял, почему в конце жизни она нашла себе «жениха», почему затеяла эту игру, будто все начинается сначала. И там, вокруг дома призрения, где угасали человеческие жизни, там тоже вечер был как раздумчивое затишье. Перед самой смертью мама, должно быть, почувствовала себя освобожденной, готовой все пережить заново. Никто, никто не имел права ее оплакивать. Вот и я — я тоже готов все пережить заново. Как будто неистовый порыв гнева очистил меня от боли, избавил от надежды, и перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую — я был счастлив, я счастлив и сейчас. Чтобы все завершилось, чтобы не было мне так одиноко, остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей — и

пусть они встретят меня криками ненависти.